



Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

Bernard Malamud

Бернард Маламуд

Шляпа Рембрандта

Рассказы

Перевод с английского

*Предисловие и составление
А. Зверева*

Москва
«Известия»
1990

**И (Амер)
М18**

Ответственный редактор Библиотеки «ИЛ» В. Перехватов

Редактор Т. Иванова

Рецензент Т. Венедиктова

На обложке: рисунок американского художника Бена Шана.

М $\frac{4703040100-009}{074(02)-90}$ 73-90

ISBN 5-206-00050-7

© Bernard Malamud

© Оформление, составление, предисловие, перевод на русский язык
издательство «Известия», журнал «Иностранная литература»,
1990

«Бедные люди»: XX век

Наше знакомство с Бернардом Маламудом оборвалось, едва начавшись. В 1967 году вышла книжка его рассказов «Туфли для служанки» в переводе Р. Я. Райт-Ковалевой, но продолжения не последовало. Случайно мелькнул года через три еще один рассказ Маламуда в сборнике современной американской новеллы; после этого не было напечатано ни строки.

Подобные исчезновения зарубежных писателей, представленных нашей аудитории и вызвавших ее интерес, в недавние времена происходили сплошь да рядом. Понять логику негласных запретов, которым подвергалось то или иное имя, подчас бывало не легче, чем освоиться в мире кафкианского повествования, где вывихнутые отношения и нормы давно стали никем не замечаемой обыденностью. Маламуд, собственно, ничем не провинился перед ревнителями нашей идеологической целомудренности: не позволяя себе высказываний по поводу «реального социализма», почти никогда не подписывал протестов, подаваемых в советские посольства, вообще оставался далек от политической жизни. Тем не менее острый цензорский глаз распознавал в его книгах нечто решительно не устраивающее адептов «единственно правильного миропонимания».

И в общем-то этот глаз не обманывался. Иосиф Бродский, не раз сталкивавшийся с подобными адептами лицом к лицу, обобщил накопленный опыт суждением, над которым мы еще не раз задумаемся, оглядываясь на собственное близкое прошлое: «Поэт наживает себе неприятности в силу своего лингвистического и, стало быть, психологического превосходства, а не по политическим причинам. Песнь есть форма лингвистического неповиновения». Слово «лингвисти-

ческий» в данном контексте обладает не только буквальным смыслом — оно скорее синонимично таким понятиям, как способ мышления, характер восприятия, чувства, образы, — коротко говоря, мир художника. Можно оставаться вполне нейтральным в политике и тем не менее навлечь на себя серьезные подозрения тех, кто стоит на страже несвободы. В этих случаях не устраивает уже одно то, что писатель попросту игнорирует искусственно насаждаемые табу и выражает все, что ему необходимо выразить, без оглядки на ограничения — тематические или какие угодно еще.

Нашу литературную бюрократию Маламуд не устраивал именно этим. Поэтому мы вынуждены заново открывать для себя крупного американского прозаика, когда его уже нет в живых.

Бернард Маламуд (1914—1986) не раз спорил с критиками, прочитав у них, что его творчество насквозь автобиографично, и все-таки есть очень много оснований так думать. Выходец из среды евреев-иммигрантов, которые трудно осваивались в США, Маламуд был не первым, кто понял, какими творческими возможностями может одарить тема американца в первом поколении, и сердцем, и привычками, и укладом жизни еще принадлежащего своей «старой родине» — какому-нибудь грязноватому местечку под Краковом или Могилевом, в черте оседлости, в Царстве Польском. До Маламуда были Шолом Аш, Исаак Башевис Зингер. Но они перебрались в Америку уже сложившимися прозаиками да и в США продолжали писать на идиш, иногда сами переводя написанное на английский. А Маламуд изначально и без всяких оговорок принадлежит американской литературе.

Так что до некоторой степени он был первооткрывателем темы, а верней, богатейшего материала, который она в себе заключает. Хотя дело, разумеется, не в установлении приоритетов, а в том, чтобы опознать истоки образности, которой создан художественный лад прозы Маламуда —

почти фактографичной, а с другой стороны, подчеркнуто, нескрываемо гротескной.

Подростком Маламуд помогал в лавке своему отцу-бакалейщику, который до конца дней говорил на жаргоне, смешивая американизмы то с идиш, то с ивритом. Лавка находилась в Бронксе, квартале еврейских переселенцев; Нью-Йорк не заставил их переменить распорядка жизни, принятого еще прадедами там, за океаном. Социальный пейзаж рассказов Маламуда навеян памятью детства, и оттого с такой ностальгией описаны у него все эти портняжные заведения, обувные мастерские, обшарпанные синагоги, заваленные ящиками из-под яиц и консервов дворы, кафтаны и ермолки стариков, собирающихся в чухлом скверике потолковать о превратностях жизни да вспомнить подходящее изречение из Торы. И булочные, откуда тянет медовым запахом свежеспеченного черного хлеба. И засиженные мухами полки магазинчика, куда забегают к ночи прикупить масла на школьный бутерброд ребятишкам, потому что уже закрылся недавно построенный супермаркет...

Прочтите в этой книге хотя бы рассказ, озаглавленный «Прожиточный минимум», присмотритесь к его главному герою Сэму (а по-настоящему, разумеется, Самуилу) Томашевскому. Вроде бы банальная история лавочника, разоренного непосильной конкуренцией с супермаркетом, где твердые цены и выбор намного лучше. И написана новелла безыскусно, нет в ней ни привычных для читателей Маламуда полетов фантазии, ни алогизма ситуаций, зато сколько в нее вложено личного! Тут не выдумана, а прямо из живого опыта взята каждая деталь, даже воспоминания Томашевского о речке в Каменец-Подольском и о стоявшем на берегу угрюмом здании, где, по поверью, обитают окровавленные тени убитых, даже напрочь сносившиеся от долгих стояний за прилавком подметки и каблуки, так что холодно ступне. Или белая папиросная бумага, которую кладут рядом с банками на скудной витрине, тщетно надеясь привлечь покупателей. Или давние клиенты, стыдливо отворачи-

вающиеся при встрече на улице,— они предали соседа, столько лет их кормившего, им стыдно, но что поделаешь, ведь каждый цент на счету.

В повести, которая принесла Маламуду известность, в «Помощнике» (1957), место действия — тоже бакалейная лавка, куда поступает разнорабочим фатоватый парень-итальянец, не испытывающий ни интереса, ни сочувствия к старикам хозяевам, которые ему кажутся скопидомами, ханжами и полупомешанными. Несколько зимних месяцев, которые он проведет в этом на глазах хиреющем торговом предприятии, пока, побуждаемый любовью к хозяйской дочери, не примет иудаизм, а с ним вместе и заботу о почти обанкротившемся жалком бизнесе, заполнены беспросветно однообразным трудом. Ранние вставания, чтобы продать две-три лишние бутылки молока, мозоли от тяжелых коробок, которые сбрасывает у заднего входа прибывший со склада грузовик, экономия на отоплении, на свете, на телефоне, вечные причитания из-за того, что минувшая неделя опять принесла на десять долларов меньше, чем ожидали,— такие будни, кажется, должны бы внушить одну-единственную мысль о бегстве прочь, пусть придется обойтись без гроша в кармане и крыши над головой.

Однако итальянец остается. И не оттого лишь, что сугубо эротическое влечение одухотворилось чувством, глубоким, как никогда прежде. Что-то очень существенное открывается ему в ту слякотную зиму, которую он прожил среди монотонности этой по преимуществу еврейской окраины, вынужденно, а потом уже по доброй воле деля все повседневные трудности и скупое отмеренные радости людей, не представляющих себе даже возможности жить как-то по-другому.

Их существование убого, бескрыло, ужасающе принижено и, если смотреть взглядом постороннего, в нем бездна нелепостей, а еще больше уныния и тоски. Но в нем есть и что-то поистине незаменимое, неподдельное, как бы заставляющее с наглядностью представить себе сам чело-

веческий удел — страдания, драмы, всегдашние неустройства, обманывающие робкие надежды и каждодневный страх перед новыми ударами, на которые так изобретательна судьба. И умение терпеть. И способность к жалости, к состраданию, заставляющему того же Томашевского открывать кредит совсем уж обездоленным, хотя у самого дела идут из рук вон скверно. И еще одна способность — выстоять, когда против тебя словно бы все мироздание. Отыскать в душе какие-то потаенные силы, упрямо цепляться за малейший шанс и в итоге сбереечь хотя бы крохи, хотя бы обломки некогда более или менее сносного бытия.

Маламуд с первых же книг заявил о себе как о поэте «бедных людей», подразумевая тот смысл, который этому словосочетанию придала русская классика, точно соотносившая социальный подтекст с экзистенциальным. Прямая реминисценция чеховской «Тоски» в новелле «Говорящая лошадь» менее всего случайна, и тут не просто дань признательности Чехову, который для Маламуда, как, впрочем, едва ли не для всех мастеров рассказа в наше столетие, был важнейшим творческим ориентиром. Существеннее, однако, сходство взгляда на участь «бедных людей» и на сам этот феномен. Униженность и у Маламуда — больше чем общественное состояние, это, главным образом, самосознание личности, слишком хорошо себе представляющей холод и равнодушие мира, примирившейся с ним, но не озлобленной, не утратившей хотя бы искорки доброты, какими бы тяготами ни было обременено ее существование день за днем. Даже навязывая «бедным людям» этику приспособления к не ими созданным условиям и тем самым подчас превращая их в законченных эгоистов, подчас вызывая взрывы слепой и страшной ярости против такой судьбы, жизнь не способна до конца в них приглушить гуманное начало или, во всяком случае, понимание постыдности собственного конформизма, оборачивающегося жестокостью в отношении ближних.

И эта проблематика, и этот тип героя главенствуют у

Маламуда на протяжении всего его творчества, от «Помощника» и первого сборника рассказов «Волшебный бочонок» (1958) до итоговой книги избранных новелл, вышедшей незадолго до смерти автора. Ни о какой идеализации основного персонажа не могло быть и речи уже в силу характера творческой задачи Маламуда, и перед его читателями прошла целая вереница людей, надломленных своей тусклой будничностью, бесконечно одиноких, нередко опустившихся, еще чаще — расставшихся с ходовыми представлениями о добродетели, потому что они никак не ладят с реальными обстоятельствами жизни. Не могло быть речи и о каком-то специфически еврейском ощущении мира или о чисто национальных психологических чертах обычного маламудовского героя. Перенося действие, например, в Италию и выводя на сцену мелкого афериста Бевилакву (новелла «Вот он ключ!»), писатель исследовал все тот же самый характер «бедного человека», которого действительность заставляет ловчить и жульничать, как булочницу Бесси из «Ссуды» заставила она сделаться бесчувственной, а рабби Лифшица («Серебряный венец») приучила морочить легковверных, преступая Писание. Сюжеты Маламуда печальны, а его тональность вряд ли способна настроить оптимистически. Но огонек человечности тлеет даже в его персонажах, успевших обнищать духовно, не говоря уж об их социальной отверженности.

Один из критиков написал о типичном для Маламуда герое, что он похож на одинокого пенсионера, который собственную жизнь носит, как скверно сшитый костюм, зная, что ему не дождаться другого. Это верно и тонко замечено, хотя все же не исчерпывает ни главных коллизий, ни сути характеров, привлекавших американского прозаика. Сам он сказал о своем творчестве точнее, когда, комментируя роман «Разные жизни Дьюбина» (1979), заметил в интервью, что его всегда интересовала «безысходная человеческая драма, которая заключена в объективной невозможности или неспособности людей осуществить самих себя

в каком-нибудь деле, созидая нечто завершённое и воплощающее их духовность».

Рассказ «Шляпа Рембрандта» открывал одноименный сборник (1973), и этим указывалось, что для автора он обладает программным значением. Это тоже трагифарс, как большинство новелл Маламуда. Но за ординарностью фабулы, которая была бы уместна и в анекдоте, нельзя не ощутить философского смысла рассказанной нам истории скульптора, обтесывавшего плавники да лепившего уродливые цветы на длинных стеблях, хотя наверняка таилось в этом Рубине — и не смогло реализоваться — какое-то дарование. И кто знает, так ли уж комически нелепо выглядела бы на нем шляпа, вызывающая ассоциации с полотном великого нидерландца, если бы все сложилось у него иначе, если бы заложенное природой приобрело зримую форму, если бы напоминанием о неудаче не травмировали неуклюжие шуточки Аркина, заставляя осознать, что художник не состоялся.

Неудача — понятие едва ли не ключевое для Маламуда, она гонится за его героями неотступно, перечеркивая их расчеты и замыслы, заставляя в который раз удостовериться, как беспощадна жизнь. А они, как будто ко всему на свете притерпевшиеся, все равно не могут ощутить никакой логики в этих напастях, переживая их с такой мукой и болью, словно лишь нелепостью, которую еще возможно поправить, объясняются валяющиеся на них несчастья: нищета, и болезни, и пошедшие прахом коммерческие затеи, отчуждение детей и ужас беспомощной старости. У героя Маламуда неистребима вера в некий разумный, справедливый, благоустроенный и уютный мир, и при всей своей кажущейся абсурдности эта вера, для которой окружающая реальность не предоставляет ни малейших стимулов, одна помогает им выносить испытания и переступать через потери, чтобы жить дальше — вопреки всему. Она же, впрямую соприкасаясь с истинным порядком вещей, создает те гротескные ситуации, которыми изобилует

проза Маламуда — и романы, и особенно рассказы.

Его фантазия на самом деле была смелой и щедрой, но никогда — самоцельной. Маламуд мог бы сказать о себе словами Марка Шагала, с которым у него столько творческих переключек: «Не зовите меня фантазером! Наоборот, я реалист. Я люблю землю».

Маламуд тоже любил землю, которая его взрастила, — Бронкс и Куинс, освоенные иммигрантами бывшие нью-йоркские пригороды, эту немислимую смесь народов, традиций, обычаев, психологий, национальных пристрастий и установлений, грустных и смешных перипетий повседневности, запечатленной у него как бесконечно многоликий мир. Гротеск был органичен такому материалу. Маламуд им пользовался экономно и добивался эффекта иной раз безукоризненного — в этом можно убедиться, прочитав хотя бы такую новеллу, как «Ангел Левин».

Когда же затронутая им коллизия подводила к важнейшим категориям бытия, гротеск под пером Маламуда оказывался по-своему незаменимым средством, чтобы выразить центральную для всего творчества этого писателя мысль о свободе как вечном, хотя практически почти неосуществимом человеческом устремлении. Теснимый и угнетаемый, принужденный вести существование, которое никто не назовет достойным, нередко оказывающийся просто игрушкой неподвластных ему сил, человек, как его понимал Маламуд, по самой своей природе не может до конца смириться с положением парии, или обитателя гетто, или говорящей лошади, если воспользоваться метафорой одного из самых известных маламудовских рассказов. Бросаемый им вызов судьбе и трагичен, и безнадежен. Но это все-таки вызов.

Потребность свободы, пусть ущемленной, пусть едва ли не призрачной, Маламуд считал чувством даже более сильным, чем преследующее его «бедных людей» ощущение несостоявшейся жизни. И наверное, эта вот сокровенная идея, которая так или иначе о себе напомнит в любой его книге,

прежде всего сделала Маламуда одним из тех певцов «неповиновения», перед которыми еще несколько лет назад наглухо закрывались двери наших издательств.

Но времена эти минули, и Маламуд возвращается к нам — или для нас начинается с этой книги, вобравшей в себя все главные мотивы его творчества.

А. Зверев

Вот он ключ!

Погожим деньком на исходе римской осени Карл Шнейдер, итальянист, выпускник Колумбийского университета, вышел из конторы агента по торговле недвижимостью после удручающего утра, убитого на поиски квартиры, и двинулся по виа Венето. Рим, этот город, вечно поражающий воображение, поразил его до крайности неприятно. В первый раз после своей женитьбы он тяготился одиночеством, возделел проходящих мимо прелестных итальянок, особенно тех, у кого, судя по виду, водились деньги. Надо быть последним дураком, думал он, чтобы приехать сюда не при деньгах.

Прошлой весной ему отказали в фулбрайтовской стипендии *, и он места себе не находил, пока не решил несмотря ни на что поехать в Рим и написать диссертацию о *Risorgimento* ** по первоисточникам, ну и заодно вдоволь налюбоваться Италией. С этим планом у него долгие годы связывались самые счастливые ожидания. Норма считала, что сорваться с места с двумя детьми, притом что старшему нет и шести, и у них отложено всего-навсего три тысячи шестьсот долларов, в основном заработанных ею, — чистое

* По закону Фулбрайта (принят Конгрессом США в 1946 году), названному в честь его автора, политического деятеля Джеймса Уильяма Фулбрайта (1905 г. р.), из средств, вырученных от продажи излишков американских товаров за границей, выделяются стипендии как для американцев, занимающихся научными изысканиями за границей, так и иностранцев, занимающихся научными изысканиями в США. (*Здесь и далее — прим. перев.*).

** Возрождение (*итал.*) — период подъема национально-освободительного движения в Италии (1830—1870).

безумие, но Карл доказывал, что порой необходимо резко изменить жизнь, иначе тебе крышка. Ему двадцать восемь — годы немалые, ей — тридцать, когда же и ехать, если не сейчас? Он не сомневался, что при его знании языка они недурно устроятся, и вдобавок очень быстро. Норма не разделяла его уверенности. Их споры так ничем бы и не кончились, но тут Нормина вдовая мать предложила оплатить им проезд; и только тогда Норма, хоть и не без опаски, дала согласие.

— Мы же читали, какая в Риме дороговизна. Откуда мы знаем, можно ли там прожить на такие деньги?

— Иной раз приходится идти на риск,— сказал Карл.

— Смотря на какой риск — при двух-то детях,— парировала Норма; но все же решилась рискнуть, и шестнадцатого октября, уже по окончании сезона, они отплыли в Италию, а двадцать шестого приплыли в Неаполь, откуда не мешкая поехали прямо в Рим в надежде быстро найти квартиру и тем самым сэкономить деньги, хотя Норме очень хотелось увидеть Капри, а Карлу хоть немного пожить в Помпее.

В Риме, хотя Карл легко ориентировался и объяснялся, приступив к поискам недорогой меблированной квартиры, они натолкнулись на серьезные препятствия. Они рассчитывали снять квартиру с двумя спальнями — и тогда Карл будет работать в их спальне — или с одной спальней и большой комнатой для прислуги — тогда там будут спать дети. Они обошли весь город, но ни одной приличной квартиры по их деньгам — за пятьдесят — пятьдесят пять тысяч лир в месяц, то есть в пределах девяноста долларов, найти не удалось. Карл раскопал несколько квартир по сходной цене, но лишь в ужасающих кварталах Трастевере; во всех других районах у квартир неизменно обнаруживались какие-нибудь роковые изъяны: где не было отопления, где самой необходимой мебели, а где и водопровода или канализации.

В довершение неприятностей на вторую неделю их жизни

в унылом пансиончике у детей началось тяжелое желудочное расстройство; в одну ночь — они не скоро ее забудут — Майка, их младшего, пришлось раз десять носить в уборную, а у Кристины температура подскочила до сорока, после чего Норма, которой как молоко, так и чистоплотность услуги пансиона не внушали доверия, сказала, что в гостинице им будет лучше. Когда у Кристины спала температура, они по совету одного знакомого фулбрайтовского стипендиата переехали в „Sora Cecilia“ *, второразрядную albergo **. Гостиница занимала пятиэтажный дом, нарезанный на множество узких с высоченными потолками номеров, смахивающих на денники. Уборных при номерах не имелось, зато цены были приемлемые. Других достоинств у гостиницы не водилось, если не считать ее местоположения неподалеку от пьядца Навона, очаровательной площади XVII века, застроенной восхитительно живописными особняками густокрасного цвета. На площади били разом три фонтана, и Карл с Нормой любовались игрой их струй и скульптурными группами, но дни шли, а они как были, так и оставались бесприютными и, понуро выгуливая детей вокруг фонтанов, вскоре перестали воспринимать их красоту.

Поначалу Карл избегал агентов по продаже недвижимости: не хотел тратиться на комиссионные — как-никак целых пять процентов годовой платы; когда же, пав духом, он стал наведываться в их конторы, ему отвечали, что он опоздал — в эту пору за такие деньги ничего не снимешь.

— Что бы вам в июле приехать, — сказал один агент.

— Но я приехал сейчас.

Агент развел руками:

— Я верю в чудеса, но творить их дано не всякому. Имеет смысл заплатить семьдесят пять тысяч и жить с комфортом, как все американцы.

— Мне это не по карману, а если за отопление платить особо, то и подавно.

* Сестра Цецилия (итал.).

** гостиницу (итал.).

— В таком случае вы всю зиму проторчите в гостинице.
— Очень тронут вашим участием.— Карл ушел из агентства, сильно ожесточась душой.

И тем не менее время от времени агенты звонили ему — звали посмотреть очередное «чудо». Один показал ему недурную квартирку, выходящую окнами на регулярный сад какого-то князя. За нее просили шестьдесят тысяч, и Карл снял бы ее, если бы жилец из соседней квартиры не предупредил его — Карл вернулся, так как агент не внушил ему доверия,— что квартира обогревается электричеством, а значит, придется выложить еще двадцать тысяч в месяц сверх шестидесяти. Другое «чудо» — однокомнатную студию на виа Маргутта за сорок тысяч — предложил ему брат агента. Иногда Норме позванивала агентша и нахваливала чудесные квартиры в Париоли: восемь дивных комнат, три спальни, две ванных, кухня не отличить от американской, холодильник, гараж — для американской семьи ничего лучше не сыскать, двести тысяч в месяц.

— Ради бога, хватит,— сказала Норма.

— Я свихнусь,— сказал Карл.

Он не находил себе места — время бежит, почти месяц прошел, а он еще не сел за работу. Приуныла и Норма — ей приходилось стирать детские вещички в раковине нетопленного, захламленного номера. Мало того, за прошлую неделю им предъявили в гостинице счет аж на двадцать тысяч, плюс две тысячи в день у них уходило на еду, хотя ели они кое-как, а для детей Норма готовила сама на специально купленной для этого плитке.

— Карл, что, если мне пойти работать?

— Хватит с меня твоих работ,— ответил он.— Ты же тогда ничего не увидишь.

— А что я так вижу? Я нигде, кроме Колизея, и не была.

Тут она и предложила снять квартиру без мебели, а мебель построить.

— Где я возьму инструмент? — сказал Карл.— Ну посуды сама, во что нам обойдется дерево в стране, где дешевле на-

стилать мраморные полы? И кто, интересно, будет заниматься наукой, пока я буду плотничать и столярничать?

— Хорошо,— сказала она.— Замнем для ясности.

— А что, если снять квартиру за семьдесят пять тысяч, но уехать через пять-шесть месяцев? — спросил Карл.

— А ты успеешь закончить диссертацию за полгода?

— Нет.

— Мне казалось, мы приехали сюда в первую очередь для того, чтобы ты закончил диссертацию.

И Норма прокляла день и час, когда услышала об Италии.

— Довольно,— сказал Карл.

Он совсем потерял голову, клял себя — приехал, не подумав, чем это обернется для Нормы и ребятишек. Не понимал, почему все складывается так неудачно. А когда не клял себя, клял итальянцев. Бесчувственные, скользкие, человек попал в такой переplet, а им хоть бы хны. Он не может найти с ними общего языка, хоть и знает их язык. Не может заставить их объясниться начистоту, пробудить в них сострадание к его затруднениям. Чувствовал, как рушатся его планы, его надежды, и опасался, если квартира вскоре не найдется, разочароваться в Италии.

У Porta Пинчано, на трамвайной остановке, кто-то тронул его за плечо. Посреди тротуара, на самом солнцепеке, прижимая к груди потрепанный портфель, стоял лохматый итальянец. Волосы торчком. Кроткие, не грустные, но с явными следами грусти глаза. Чистая белая рубашка, жеванный галстук, черный пиджак, сбежавшийся складками на спине. Джинсы и узконосые дырчатые, тщательно начищенные туфли — явно летние.

— Прошу извинения,— сказал он, робко улыбаясь.— Я Васко Бевилаква. Вам желательна квартира?

— Как вы догадались? — спросил Карл.

— Я следовал вас,— ответил итальянец, выразительно махнув рукой,— когда вы ходили от агенция *. Я сам агенция.

* агентство (итал.).

Я люблю помогать американскому народу. Он замечательный.

— Вы квартирный агент?

— Это есть верно.

— *Parliamo italiano* *.

— Вы говорите на итальянски? — Он не смог скрыть своего разочарования.— *Ma non è italiano?* **

Карл сказал, что он американец, специалист по итальянской истории и культуре, много лет изучал итальянский.

Бевилаквa, в свою очередь, объяснил ему, что, хотя у него нет своей конторы, да, кстати говоря, и машины, у него есть несколько совершенно исключительных вариантов. О них ему сообщили друзья — они знают, что он открыл дело, и обязательно рассказывают ему обо всех освободившихся квартирах как в их домах, так и в домах их друзей, ну а он, само собой разумеется, отблагодарит их, когда получит комиссионные. Настоящие агенты, продолжал он, дерут рваческие пять процентов. Он просит всего-навсего три. Его цена ниже, потому что, по правде сказать, у него и расходы небольшие, ну и потому что американцы ему очень симпатичны. Он справился у Карла, сколько комнат ему нужно и сколько он согласен платить.

Карла раздирали сомнения. Хотя итальянец и произвел на него приятное впечатление, он не *bona fide* *** агент и скорее всего работает без лицензии. Он был наслышан об этих мелких пройдохах и хотел уже сказать, что не нуждается в услугах Бевилаквы, но глаза того молили не отказать.

А ведь я ничем не рискую, сообразил Карл. Вдруг у него и впрямь есть подходящая квартира. Он сказал итальянцу, что ему нужно и сколько он рассчитывает платить.

Бевилаквa просиял.

— Какую область вы изыскиваете? — темпераментно спросил он.

* Поговорим по-итальянски? (*итал.*)

** Но вы ведь не итальянец? (*итал.*)

*** добросовестный (*лат.*).

— Меня устроит любой более или менее приличный вариант,— ответил Карл по-итальянски.— Не обязательно идеальный.

— Не исключительно Париоли?

— Не только Париоли. Все зависит от квартплаты.

Бевилаквa зажал портфель в коленях, полез в карман рубашки. Вытащил истрепанную бумажонку, развернул и, сдвинув брови, стал разбирать карандашные каракули. Чуть погодя сунул бумажку обратно в карман, взял в руки портфель.

— Дайте мне ваш номер телефона,— сказал он по-итальянски.— Я просмотрю другие варианты и позвоню вам.

— Послушайте,— сказал Карл.— Есть у вас хорошая квартира — отлично, я ее посмотрю. Нет — прошу, не отнимайте у меня времени понапрасну.

Лицо Бевилаквы исказила обида.

— Честное слово,— сказал он, прикладывая к груди здоровенную ручищу,— завтра же у вас будет квартира. Чтоб моей матери родить козла, если я вас обману.

Он занес в блокнотик адрес гостиницы Карла.

— Буду у вас ровно в час, поведу вас посмотреть потрясающие квартиры.

— А утром никак нельзя?

Бевилаквa рассыпался в извинениях.

— Пока что я работаю с часу до четырех.

Он рассчитывает, сказал Бевилаквa, в дальнейшем работать дольше, и Карл догадался, что квартирными операциями он занимается в перерыв, положенный на обед и сиесту, а так служит за гроши в какой-нибудь канцелярии.

Карл сказал, что будет ждать его ровно в час.

Бевилаквa враз посерьезнел — похоже, ушел в свои мысли,— откланялся и удалился, загребая туфлями.

Он появился в гостинице без десяти два, в тесной черной шляпе, с космами, укрощенными бриллиантином, запах которого мигом разнесся по всему вестибюлю. Карл топтался у конторки: когда Бевилаквa, как всегда при портфеле,

ворвался в гостиницу, он уже простился с надеждой его увидеть.

— Готовы? — переводя дух, спросил он.

— Уже с часу готов, — ответил Карл.

— У меня нет машины — вот почему так получается, — объяснил Бевилаквa.— У автобуса спустила шина.

Карл поглядел на него, но он и глазом не моргнул.

— Что ж, пойдём, — как-никак Карл был исследователем.

— Я могу показать вам три квартиры.— И Бевилаквa сообщил адрес первой квартиры — трехкомнатной, с двумя спальнями, всего за пятьдесят тысяч.

В битком набитом автобусе они повисли на поручнях, на каждой остановке итальянец привставал на цыпочки, вертел головой, смотрел, где они. Он дважды спрашивал у Карла, который час, и когда Карл отвечал, беззвучно шевелил губами; впрочем, вскоре он взбодрился и с улыбкой спросил:

— Что вы думаете о Мэрилин Монро?

— Я как-то мало о ней думал, — сказал Карл.

Бевилаквa был явно озадачен.

— Разве вы не ходите в кино?

— Крайне редко.

Итальянец вознес хвалу американскому кино.

— В Италии нам в кино подсовывают нашу жизнь — можно подумать, мы без них ее не знаем.

И снова замолк. Карл заметил, что он сжимает в кулаке статуэтку горбуна в высокой шляпе и то и дело трет большим пальцем его злополучный горб — по поверью, это должно принести удачу.

Хорошо бы нам обоим, уповал Карл. Беспокойство, тревога никак не оставляли его.

Но по первому адресу — крашенному в рыжий цвет дому за железными воротами — их ждала неудача.

— На третьем этаже? — спросил Карл, с неудовольствием обнаружив, что успел уже здесь побывать.

— Верно. Как вы догадались?

— Я смотрел эту квартиру, — буркнул Карл. И вспомнил, что узнал об этой квартире из объявления. Если Бевилакwa черпает свои варианты из газет, им лучше тут же распротиться.

— Почему она вам не подошла? — спросил итальянец, не в силах скрыть своего огорчения.

— Отопление никуда не годится. Гостиная еще обогревается газом, а спальни и вовсе не обогреваются. Они договаривались провести в сентябре паровое отопление, но все сорвалось — поднялись цены на трубы. При двух детях не очень-то хочется зимовать в холодной квартире.

— Олухи, — буркнул Бевилакwa. — Привратник говорил, что отопление в полном порядке.

Он сверился со своей бумажкой.

— Есть квартирka в районе Прати, две отличные спальни плюс большая комната — столовая и гостиная разом. Мало того, в кухне холодильник, совсем как американский.

— О ней помещали объявления в газетах?

— Что вы! Мне о ней сообщил только вчера вечером мой брат, но за нее просят пятьдесят пять тысяч.

— Что ж, во всяком случае, надо ее посмотреть, — сказал Карл.

Перед ними предстал старинный дом, бывшая вилла, разбитая на квартиры. Через улицу раскинулся небольшой парк, где там и сям группами высились сосны. Бевилакwa отыскал привратника, и тот повел их наверх, по дороге без устали нахваливая квартиру. И хотя от Карла не укрылось, что на кухне нет горячей воды, а значит, ее придется таскать из ванной, квартира ему понравилась. Но когда он заглянул в хозяйскую спальню, ему бросилась в глаза отсыревшая стена, вдобавок в ноздри шибал неприятный запах.

Привратник кинулся объяснять, что здесь прорвало водопровод, но не пройдет и недели, как его починят.

— Скорее канализацию, если судить по запаху, — сказал Карл.

— Но трубу на этой же неделе обязательно починят,— сказал Бевилакка.

— Нет, при такой вони мне здесь недели не прожить.

— Надо понимать так, что вы не хотите снять эту квартиру? — оскорбился итальянец.

Карл кивнул. Лицо Бевилаквы помертвело. Он высморкался, и они ушли. На улице Бевилакка взял себя в руки.

— Матери родной и то верить нельзя — вот времена настали! Только сегодня утром я звонил привратнику, и он уверял, что дом в полном порядке.

— Не иначе как он над вами подшутил.

— Это не меняет дела. У меня на примете есть исключительная квартира, но нам придется поторопиться.

Карл, больше для очистки совести, осведомился, где она находится.

Итальянец несколько смутился.

— В Париоли, в самом лучшем районе, да вы и без меня это знаете. Вашей жене не придется искать себе друзей — столько там американцев. И японцев, и индусов не меньше — вдруг вам по вкусу смешанное общество.

— В Париоли,— буркнул Карл.— И сколько же просят?

— Каких-то шестьдесят пять тысяч,— потупился Бевилакка.

— Каких-то? И все равно, за такие деньги там сдадут разве что конуру.

— Вот и нет, это очень славная квартирка — новехонькая, с большой супружеской спальней и спальenkой поменьше, при них все, что положено, включая прекрасную кухню. Ну а лично вам очень понравится великолепная лоджия.

— А вы сами-то видели эту квартиру?

— Я говорил с горничной — она уверяет, что владелец квартиры очень хочет ее сдать. Он на следующей неделе уезжает по делам в Турин. Горничная — моя старая знакомая. Она божится, что квартира — лучше не бывает.

Карл задумался. Шестьдесят пять тысяч лир — это примерно сто пять долларов.

— Ладно,— не сразу сказал он.— Давайте посмотрим эту вашу квартиру.

* * *

В последнюю минуту они вскочили в трамвай, отыскивали два места рядом. На каждой остановке Бевилаква в нетерпении выглядывал в окно. По дороге он рассказал Карлу о своей тяжелой жизни. Он родился восьмым по счету из двенадцати детей, в живых осталось всего пятеро. Ни один из них ни разу не наелся досыта, хотя спагетти они наворачивали ведрами. На одиннадцатом году ему пришлось бросить школу и пойти работать. В войну его дважды ранили — раз американцы, когда наступали, и раз немцы, когда отступали. Отец его погиб во время бомбежки Рима союзниками, в той же бомбежке разворотило могилу его матери на Cimitero Verano *.

— Англичане, те били прицельно, а американцы швыряли бомбы куда ни попадя. Вам хорошо — вы богатые.

Карл сказал, что очень сожалеет о бомбежках.

— И все равно американцы мне больше нравятся,— продолжал Бевилаква.— Они похожи на итальянцев — у них тоже душа нараспашку. Вот почему я стараюсь им помочь, когда они приезжают сюда. Англичане, про них никогда не знаешь, что у них в душе. Цедят сквозь зубы.— Он помычал сквозь зубы.

По дороге к пьядца Эуклиде Бевилаква спросил Карла, не найдется ли у него американской сигареты.

— Я не курю,— извиняющимся голосом сказал Карл. Бевилаква пожал плечами и прибавил шагу.

Он привел Карла в новый дом на виа Архимеде, вьющейся от подошвы до макушки холма. На ней стояли впритык жилые дома веселых цветов, опоясанные лоджиями. И Карлу пришла в голову мысль, что для него было бы пределом мечтаний поселиться в одном из этих домов. Как пришла, так и ушла, поскольку он тут же ее прогнал.

* кладбище Верано (итал.).

Они поднялись в лифте на шестой этаж, и горничная, брюнетка с щеками в темном пуху, повела их по чистенькой квартирке.

— За нее действительно просят шестьдесят пять тысяч? — спросил Карл.

Она подтвердила.

Квартира оказалась до того хороша, что Карл, обуреваемый поочередно то радостью, то страхом, стал молиться.

— Говорил же я, вам тут понравится, — сказал Бевилакwa, потирая руки. — Я сегодня же составлю соглашение.

— Ну а теперь посмотрим спальню, — сказал Карл.

Но горничная сначала пригласила их на просторную лоджию — полюбоваться видом. Карла привело в восторг разнообразие стилей всех времен, от древних до новейших, — здесь некогда творилась история и все еще, пусть и сильно вырождаясь, текла, воплощаясь в море крыш, шпилей, куполов; а за ними вставал золотой купол собора святого Петра. «Дивный город», — подумал Карл.

— А теперь в спальню, — сказал он.

— Да, в спальню. — Горничная распахнула двустворчатые двери и провела его в «camera matrimoniale», просторную, прекрасно обставленную, с двумя внушительными кроватями красного дерева.

— Сойдут и эти, — сказал Карл, чтобы не выдать своей радости, — хотя вообще-то я предпочитаю двуспальные кровати.

— Я тоже, — сказала горничная, — но что вам мешает — поставите себе двуспальную.

— Они вполне сойдут.

— Сойдут-то они сойдут, только их здесь не будет, — сказала горничная.

— Что это значит? — напустился на нее Бевилакwa.

— Мебель здесь не оставят. Всё увезут в Турин.

И снова прекрасная мечта Карла с размаху плюхнулась в лужу.

Бевилакwa швырнул шляпу об пол — топтал ее, колотил себя по голове кулаками.

Горничная клялась, что предупредила его по телефону: квартиру сдают без мебели.

Он кричал на нее, она орала на него. Карл ушел совершенно разбитый. Бевилакwa догнал его уже на улице. Было без четверти четыре — он опаздывал на работу. Придерживая шляпу, он несся вниз.

— Завтра я буду показывать вам умоограчительную квартиру, — обернувшись, крикнул он Карлу.

— Только через мой труп, — сказал Карл.

По дороге в гостиницу его насквозь промочил проливной дождь, первый из бесконечных дождей той поздней осени.

А наутро, в половине восьмого, в их номере зазвонил телефон. Дети проснулись, Майк задал ревака. Карл, в некотором ужасе от предстоящего дня, нашарил надрывающийся телефон. За окном все еще лил дождь.

— Pronto *.

Бевилакwa, кто ж еще?

— Я позвонил вам из работы. Я находил квартиру, вы можете на нее ехать, если захелаете, даже назавтра...

— Иди ты...

— Cosa? **

— С какой стати вы звоните в такую рань? Вы разбудили детей.

— Извините, — перешел на итальянский Бевилакwa. — У меня для вас хорошие известия.

— Какие еще к черту хорошие известия?

— Я нашел для вас квартиру — высший класс, около Монте Сакро. Правда, в ней одна спальня, зато в комнате, которая служит гостиной и столовой, стоит двуспальная тахта, вдобавок есть еще и застекленная лоджия — там

* *Здесь: Слушаю (итал.).*

** *Что? (итал.).*

вы сможете работать, и комнатенка для прислуги. Гаража нет, ну да у вас ведь и машины нет. Просят за нее сорок пять тысяч — даже меньше, чем вы рассчитывали. Квартира на первом этаже, есть садик — вашим детям будет где играть. Ваша жена просто сойдет с ума от радости, когда увидит эту квартиру.

— И не только она,— сказал Карл.— А квартиру сдают с мебелью?

Бевилаква поперхнулся.

— Само собой.

— Само собой. Вы там были?

Бевилаква прочистил горло.

— Еще нет. Я только сию минуту узнал о ней. Мне о ней сказала наша секретарша, миссис Гаспари. Эта квартира помещается прямо под ее квартирой. К тому же у вас будет чудесная соседка. Я приду за вами в гостиницу в час пятнадцать, ни минутой позже.

— Вы не успеете. Лучше в два.

— Вы будете готовы?

— Да.

Но когда он повесил трубку, его еще пуще обуял ужас. Он почувствовал, что боится выйти из гостиницы, и поделился своими страхами с Нормой.

— Может, на этот раз мне пойти с тобой? — спросила она.

Он подумал над ее предложением и отказался.

— Карл, бедняжка!

— Тоже мне приключение.

— Не злосья, не надо! Я расстраиваюсь.

Позавтракали они в номере чаем, хлебом с джемом и фруктами. Они дрожали от холода, но, как оповещало приключенное к двери объявление, до декабря топить не будут. Норма натянула на ребят свитера. Оба были простужены. Карл раскрыл книгу, но сосредоточиться не мог, и в конце концов ему пришлось довольствоваться «Il Messaggero»*.

* «Мессаджеро» (итал.) — ежедневная газета.

Норма позвонила агентше; та сказала, что свяжется с ними, если подвернется что-то новое.

Без двадцати два Бевилаквa позвонил из вестибюля.

— Сейчас спущусь,— обреченно сказал Карл.

Итальянец, в насквозь промокших туфлях, стоял у двери. В руках он держал неизменный портфель и огромный зонт, с которого капало на пол, на этот раз он был без шляпы. Но даже дождь не смог пригладить его лохмы. Выглядел он довольно жалко.

Они вышли на улицу. Бевилаквa, торопливо шагая рядом с Карлом, маневрировал, стараясь прикрыть их обоих зонтиком. На пьядца Навона какая-то женщина кормила под дождем добрый десяток кошек. Она расстелила на земле газету, и кошки таскали с нее жесткие шнуры вчерашних макарон. На Карла снова нахлынула тоска.

Пакет с объедками, брошенный из окна, шлепнулся на зонтик и приземлился неподалеку. Объедки разлетелись. Из окна четвертого этажа высунулся бледный как мел мужчина и показал пальцем на кошек. Карл погрозил ему кулаком.

Бевилаквa, весь клокоча, повествовал о своей жизни.

— Я там работаю восемь лет,— и как работаю! — и чего я достиг: вначале мне платили тридцать тысяч лир в месяц, теперь пятьдесят пять. Балбес по левую руку от меня сидит около двери, так он одних чаевых огребает сорок тысяч в месяц, и за что, спрашивается? — только за то, что допускает посетителей к начальству. Дали б мне место у двери, я б вдвое против него заколотил.

— Вы никогда не думали перейти на другую работу?

— А то нет, но мою нынешнюю зарплату мне нигде сразу не положат. И потом, минимум человек двадцать спят и видят, как бы сесть на мое место, да еще за половину моего оклада.

— Плохо дело,— сказал Карл.

— На каждый ломоть хлеба у нас как минимум двадцать голодных ртов. Вам, американцам, повезло.

— В этом смысле да.

— А в каком нет?

— У нас нет ваших площадей.

Бевилаквa дернул плечом.

— Можете ли вы после этого осуждать меня за то, что я хочу поправить свои дела?

— Разумеется, нет. Я желаю вам всех благ.

— А я желаю всех благ всем без исключения американцам,— заявил Бевилаквa.— Я всегда стараюсь помочь им.

— А я — всем итальянцам и прошу только, чтобы они дали мне некоторое время пожить среди них.

— Сегодня все уладится. Завтра вы переселитесь. Моя жена вчера ходила целовать палец святого Петра.

Машины шли сплошьяком, потоки мелюзги — «весп», «фиатов», «рено» — с ревом катили на них с обеих сторон, и хоть бы одна затормозила, дала им перейти дорогу. С риском для жизни они перебрались на другую сторону. На остановке, едва автобус свернул к обочине, толпа рванула к дверям. Народу натолкалось столько, что задние двери не закрылись, четверо повисло на подножке.

«Все это я мог иметь и на Таймс-сквер»,— подумал Карл.

* * *

Через полчаса они добрались до просторной, обсаженной деревьями улицы в нескольких минутах ходьбы от остановки автобуса. Бевилаквa показал ему желтый жилой дом на ближайшем углу. Множество лоджий, подоконники уставлены цветочными горшками, ящиками с плющом, обвившим стены. Хотя на Карла дом произвел сильное впечатление, он запретил себе и думать об этом.

Бевилаквa нервически нажал звонок — вызвал привратника. И снова принялся поглаживать горб деревянной фигурки. Из подвала вышел плотного сложения мужчина в синем халате. Мясистое лицо, черные усищи. Бевилаквa сказал ему, какую квартиру они хотят посмотреть.

— Ничего не выйдет,— ответил привратник.— У меня нет ключа.

— Начинается,— буркнул Карл.

— Наберитесь терпения,— посоветовал Бевилаква.

Он заговорил с привратником на непонятном Карлу диалекте. Привратник ответил ему пространной речью на том же диалекте.

— Пойдемте наверх,— сказал Бевилаква.

— Куда наверх?

— К той даме, я же вам о ней говорил — секретарше из нашей конторы. Она живет на втором этаже. Мы спокойненько посидим у нее, пока не добудем ключ от квартиры.

— И где же он?

— Привратник в точности не знает. Он говорит, что это квартира одной *contessa* *, но она пустила в нее своего хахалю. Теперь графиня выходит замуж и попросила хахалю съехать, а он прихватил ключ с собой.

— Да, задачка будет не из простых.

— Привратник позвонит поверенному графини — он ведаёт всеми ее делами. У него наверняка есть запасной ключ. Пока привратник будет звонить, мы посидим у миссис Гаспари. Она сварит нам кофе по-американски. И с ее мужем вы тоже сойдетесь — он работает в американской фирме.

— Бог с ним, с кофе,— сказал Карл.— Неужели никак нельзя хоть глянуть на эту квартиру? Откуда я знаю, а вдруг и ждать не стоит. Квартира ведь на первом этаже, наверное, можно заглянуть в окна?

— Окна закрыты ставнями, которые открываются только изнутри.

Они поднялись к секретарше. Секретарша, брюнетка лет тридцати с потрясающе красивыми ногами, улыбалась, обнажая в улыбке скверные зубы.

— Квартиру эту стоит смотреть?

— Она точь-в-точь такая же, как моя, и вдобавок при ней есть садик. Хотите посмотреть мою?

* графини (*итал.*).

— Если позволите.

— Прошу.

Она показала ему всю квартиру. Бевилаква не пожелал покинуть диван в гостиной, где он пристроился с намокшим портфелем на коленях. Щелкнув замками, он достал из портфеля ломоть хлеба, стал вдумчиво его жевать.

Тут уж Карл перестал скрывать от себя, что квартира ему нравится. Дом был сравнительно новый, явно построенный после войны. Досадно, конечно, что спальня всего одна, но ее они отдадут ребятам, а сами будут спать на тахте в гостиной. Из застекленной лоджии выйдет отличный кабинет. Он выглянул из окна спальни, под ним был разбит садик — вот где раздолье ребятам.

— За квартиру и правда просят сорок пять тысяч? — спросил он.

— Совершенно верно.

— И она меблирована?

— С отменным вкусом.

— Почему графиня просит за нее так мало?

— У нее голова не тем занята, — прыснула миссис Гаспари. — Смотрите-ка, дождь кончился, вышло солнце. Это хорошая примета. — Она подошла чуть не вплотную к Карлу.

«Ну а для нее-то какой здесь интерес?» — подумал Карл и тут вспомнил, что ей причитается доля от бевилаквинных жалких трех процентов.

Губы его помимо воли зашевелились. Он и хотел бы не творить заклинаний, но ничего не мог с собой поделать. Стоило ему кончить заклинать судьбу, как он тут же начинал все сначала. Квартира замечательная, о таком садике для ребят можно только мечтать. Плата гораздо ниже, чем он рассчитывал.

В гостиной Бевилаква беседовал с привратником.

— Привратник не дозвонился поверенному, — подавленно сказал он.

— Попробую-ка я, — сказала миссис Гаспари.

Привратник дал ей телефон и ушел. Она набрала номер

поверенного, но ей сообщили, что сегодня его больше не будет на работе. Она спросила номер его домашнего телефона и позвонила ему домой. Короткие гудки. Подождав минуту, она снова набрала номер.

Бевилаква достал из портфеля два мелких жестких яблочка, одно протянул Карлу. Карл покачал головой. Итальянец очистил яблоки перочинным ножом, съел оба. Кожуру и огрызки бросил в портфель, щелкнул замками.

— А что, если снять дверь? — предложил Карл. — Ведь не так уж трудно вывинтить петли?

— Петли по ту сторону двери, — сказал Бевилаква.

— Я сильно сомневаюсь, что графиня согласится сдать вам квартиру, — оторвалась от телефона миссис Гаспари, — если вы вломитесь в нее.

— Будь этот хахаль здесь, — сказал Бевилаква, — я бы ему шею свернул, чтобы в другой раз nepовадно было красть ключи.

— Все еще занято, — сказала миссис Гаспари.

— Где живет графиня? — спросил Карл. — Что, если мне съездить к ней на такси?

— По-моему, она недавно переехала, — сказала миссис Гаспари. — У меня был ее прежний адрес, а теперешнего нет.

— Привратник его знает?

— Не исключено.

Она позвонила привратнику по внутреннему телефону, но он отказался дать адрес, дал только номер телефона. Им ответила горничная, сказала, что графини нет дома; тогда они позвонили поверенному, но и на этот раз не смогли дозвониться. Карл уже начал беситься.

Миссис Гаспари позвонила телефонистке, назвала графинин номер телефона и попросила сообщить ее домашний адрес. Телефонистка нашла старый адрес, а новый у нее куда-то запропастился.

— Глупая история, — сказала миссис Гаспари. И снова набрала номер поверенного.

— Дозвонилась, — объявила она, отведя трубку в сторо-

ну.— *Вuon giorno, Avvocato* *.— Голос у нее был сама сладость.

Карл слышал, как она спрашивает поверенного, нет ли у него запасного ключа, поверенный отвечал ей минуты три, не меньше.

Она брякнула трубку на рычаг.

— У него нет ключа. По всей видимости, второго ключа вообще нет.

— К черту, с меня довольно.— Карл встал.— Я возвращаюсь в Соединенные Штаты.

Снова хлынул дождь. Раскат грома расколол небо, и Бевилаква, в ужасе выпустив из рук портфель, вскочил.

* * *

— Все, я пас,— сказал Карл Норме на следующее утро.— Позвони агентам, скажи, что мы готовы платить семьдесят пять тысяч. Нам надо во что бы то ни стало выбраться из этой дыры.

— Не раньше, чем мы поговорим с графиней. Я расскажу ей, как мы бедствуем, разжалоблю ее.

— Это ничего не даст — ты только попадешь в неловкое положение,— предостерег ее Карл.

— И все равно, прошу тебя, позвони ей.

— У меня нет ее телефона. Я не догадался его узнать.

— Разыщи его. Ты же у нас занимаешься изысканиями — тебе и карты в руки.

Он решил попросить графинин телефон у миссис Гаспари, но вспомнил, что она на работе, а ее рабочего телефона у него нет. Восстановив в памяти графинин адрес, он нашел по справочнику телефон привратника. Позвонил ему и попросил адрес графини и номер ее телефона.

— Я вам перезвоню,— сказал привратник, не прекращая жевать.— Дайте мне ваш номер.

— Не стоит. Дайте мне ее номер телефона, не тратьте времени зря.

* Добрый день, господин поверенный (*итал.*).

— Графиня мне строго-настрого заказала давать ее телефон чужим людям. Ей потом обрывают телефон.

— Я не чужой человек. Я хочу снять ее квартиру.

Привратник откашлялся.

— Где вы остановились?

— В гостинице «Сестра Цецилия».

— Через пятнадцать минут я вам перезвоню.

— Будь по-вашему.— И Карл назвал привратнику свою фамилию.

Через сорок минут зазвонил телефон, Карл взял трубку.

— Pronto.

— Синьор Шнейдер? — сказал мужской, слегка пискливый голос.

— Я у телефона.

— Разрешите представить,— без запинки, хоть и не без акцента сказал мужчина.— Я Альдо Де Веккис. Я получил бы удовольствие поговорить с вами лично.

— Вы квартирный агент?

— Не именно так, но дело зайдет о квартире графини. Я ее бывший житель.

— Тот, у кого ключ? — вырвалось у Карла.

— Это так есть.

— Где вы теперь?

— Под низом, в передней.

— Прощу вас, поднимитесь в наш номер.

— Простите, но если вы разрешите, я выберу говорить с вами здесь.

— Спускаюсь.

— Любовник явился,— сказал он Норме.

— О господи!

Он кинулся к лифту. В вестибюле его ждал тощий субъект в зеленом костюме, с брюками-дудочками. Лет около сорока, мелкие черты лица, лоснящиеся черные волосы, шляпа, заломленная с немислимой лихостью. И хотя воротник рубашки у него обмахрился, выглядел он франтом. От него распространялся сильный запах одеколona.

— Де Веккис.— Он отвесил поклон. Лицо попорчено оспой, глаза бегают.

— Я — Карл Шнейдер. Как вы узнали мой телефон? Де Веккис, похоже, пропустил вопрос мимо ушей.

— Я надеюсь, вам нравится пребывать у нас.

— Мне бы понравилось у вас еще больше, будь у меня где жить.

— Именно так. Какое впечатление вы выносите из Италии?

— Очень славные люди у вас.

— Их у нас водится слишком много.— Глаза Де Веккиса бегали по сторонам.— Где у нас имеется вероятность поговорить? У меня не много времени.

— Ну что ж.— Карл указал на комнатушку, где постояльцы писали письма.— Прошу сюда.

Они прошли к единственному в комнате столу, сели.

Де Веккис сунул руку в карман, очевидно, за сигаретой, но ничего оттуда не вынул.

— Я не буду затрачивать ваше время,— сказал он.— Вы хотите квартиру, которую повидали вчера? Я хочу, чтобы вы ее получили: она очень желанная. У нее также есть розовый сад. Летом, когда в Риме очень горячий вечер, он причинит вам радость. Но я пойду прямо к практическому делу. Вы не возражаете вложить не очень много денег, чтобы иметь право входа?

— Это вы о ключе? — и без того знал, но не удержался от вопроса.

— Именно так. Говоря правду, я сейчас стесняюсь в средствах. Прибавьте психологические тяжести, продукт разрыва с женщиной нелегкого поведения. Представляю вам рисовать себе мое состояние. Вопреки этому я предлагаю вам симпатичную квартиру и, насколько я знаю, спрашиваю не высокие деньги для американца. Я уверен, это имеет для вас стоимость? — попытался улыбнуться, но улыбка умерла, не успев родиться.

— Я аспирант, специалист по итальянской философии,— сказал Карл.— Я приехал в Италию, чтобы написать докторскую, и все свои сбережения вложил в эту поездку. На моем иждивении жена и двое детей.

— Я слушал, ваше правительство весьма расщедрилось на фулбрайтовские стипендии.

— Вы меня не так поняли. Я не получаю стипендии.

— Как бы там ни бывало,— Де Веккис забарабанил пальцами по столу,— но я запрашиваю за ключ восемьдесят пять тысяч.

Не щадя его чувств, Карл расхохотался.

— Не понимаю.

Карл встал.

— Я запрашиваю лишнюю цену?

— Немыслимую.

Де Веккис нервически потер лоб.

— Очень хорошо, раз не все из американцев богатые — вы видите, я не пристрастный,— я сокращаю цену напополам. За сорок тысяч лир, менее месячной платы, я даю вам ключ.

— Благодарю покорно. Этот номер не пройдет.

— Что это? Я не понял ваши выражения.

— Мне это не по карману. Мне еще придется платить комиссионные агенту.

— Вот что? Если так, вам необходимо плевать на него. Я выдам приказ привратнику, и он допустит вас сразу переехать. Сегодня же вечером, если у вас будет такое пожелание. Поверенный графини составит соглашение. И хотя любовникам графини с ней нелегко, жителям с ней хорошо.

— Я и рад бы плюнуть на агента,— сказал Карл,— да не могу.

Де Веккис пожевал губу.

— Я сокращаю до двадцати пяти тысяч,— сказал он,— но это мое полностью последнее слово.

— Благодарю, не стоит. Я не унижусь до взятки.

Де Веккис встал, его мелкое, с кулачок, лицо окаменело, помертвело.

— Такой народ, как вы, и заталкивает нас в руки коммунистов. Вы лезете из кожи наружу, чтобы купить нас: наши голоса, нашу культуру, и еще рискуете говорить о взятках.— Выскочил в вестибюль — и был таков.

Через пять минут раздался телефонный звонок:

— Пятнадцать тысяч, ниже я не могу опуститься.— Голос у него совсем сел.

— Ни цента,— сказал Карл.

Норма вытаращила на него глаза.

Де Веккис бросил трубку.

* * *

Позвонил привратник. Перевернул весь дом, сказал он, но графинин адрес не отыскался.

— Ну а как насчет номера ее телефона? — спросил Карл.

— У нее изменился телефон, когда она переехала. И у меня перепутались эти два телефона — новый и старый.

— Послушайте,— сказал Карл.— Я расскажу графине, что вы подослали ко мне Де Веккиса вести переговоры насчет ее квартиры.

— Интересно, это как же вы ей расскажете: вы не знаете ее телефона,— полюбопытствовал привратник.— Его нет в справочнике.

— Узнаю у миссис Гаспари, когда она придет с работы, позвоню графине и расскажу, чем вы тут занимаетесь.

— А чем я занимаюсь? Ну скажите, чем.

— Вы подослали ко мне ее бывшего любовника, от которого она хочет избавиться, чтобы он выманил у меня деньги: заставил заплатить за то, к чему никакого касательства не имеет, то есть за графинину квартиру.

— Зачем же так, давайте как-нибудь договоримся,— сказал привратник.

— Если вы сообщите мне адрес графини, я дам вам тысячу

лир.— У Карла уже язык не ворочался.

— И тебе не стыдно? — бросила ему Норма, оторвавшись от раковины, где она затеяла постирушку.

— Надо бы набавить,— канючил привратник.

— Только после переезда.

Привратник сообщил ему фамилию графини и ее новый адрес.

— Только не говорите, как вы его узнали.

Карл побожился, что не скажет.

Опрометью бросился вон из гостиницы, сел в такси и поехал на другой берег Тибра в пригород, на виа Кассиа.

Горничная графини впустила Карла в ошеломляющие своей роскошью апартаменты, с мозаичными полами, золоченой мебелью и мраморным бюстом прадеда графини в передней, где его оставили дожидаться хозяйки. Минут через двадцать графиня, невзрачная дама за пятьдесят, с вытравленными перекисью волосами, черными бровями, в коротеньком, в обтяжку платье, вышла к нему. Руки у нее были морщинистые, зато бюст необъятный, и благоухала она как целая клумба роз.

— Попрошу вас побыстрее изложить, что вам нужно,— сказала она раздраженно.— Масса дел. Подготовка к моей свадьбе в полном разгаре.

— Графиня,— сказал Карл,— извините, что я так бесцеремонно ворвался к вам, но мы с женой испытываем жестокую нужду в квартире, а мне известно, что у вас пустует квартира на виа Тиррено. Я американец, изучаю итальянскую жизнь и нравы. Вот уже без малого месяц, как мы в Италии, и до сих пор живем в третьеразрядной гостинице. Жена совсем замучилась. Ребята жестоко простужены. Я охотно заплачу пятьдесят тысяч лир вместо назначенных вами сорока пяти, если вы будете так добры и разрешите нам переехать сегодня же.

— Не забывайте,— сказала графиня.— Я родом из славящейся своей честностью семьи. Не пытайтесь меня подкупить.

Карл вспыхнул.

— Я хотел доказать на деле, что у меня самые добрые намерения.

— Как бы там ни было, моей недвижимостью ведает мой поверенный.

— У него нет ключа.

— Почему?

— Его унес прежний жилец.

— Вот дурак,— сказала она.

— У вас случайно нет запасного ключа?

— Я никогда не завожу запасных ключей. С ними одна морока — никогда не знаешь, какой от чего.

— А нельзя ли заказать ключ?

— Спросите моего поверенного.

— Я звонил ему сегодня утром — его нет в городе. С вашего позволения, графиня, я решусь сделать одно предложение. Нельзя ли взломать окно или дверь? Расходы на починку я возьму на себя.

Глаза графини полыхнули.

— Ни в коем случае,— сказала она заносчиво.— Разрушения моей собственности я не потерплю. Хватит с нас разрушений — мы ими сыты по горло. Вы, американцы, понятия не имеете, что нам пришлось испытать.

— Зато у вас будет положительный жилец — неужели это для вас ничего не значит? Зачем квартире пустовать? Скажите только слово, и через час я привезу деньги.

— Приходите через две недели, молодой человек, тогда у меня кончится медовый месяц.

— Через две недели я, может быть, испущу дух,— сказал Карл.

Графиня рассмеялась.

На улице он столкнулся с Бевилаквой. Фонарь под глазом Бевилаквы дополняло удрученное выражение лица.

— Вы меня предали, так надо понимать? — пресекающимся голосом спросил итальянец.

— Что значит «предал»? Вы что, Иисус Христос?

— До меня дошло, что вы ходили к Де Веккису, упрашивали его отдать вам ключ — хотели переехать тайком от меня.

— Подумайте сами, как я мог бы скрыть от вас свой переезд, если квартира вашей приятельницы миссис Гаспари прямо над графининой? Едва я перееду, она кинется звонить вам, и вы сломя голову примчитесь за своей долей.

— Правда ваша, — сказал Бевилаква. — Я как-то не сообразил.

— Кто поставил вам фонарь под глазом? — спросил Карл.

— Де Веккис. Сильный, черт. Я встретил его у дверей квартиры, попросил ключ. Мы схватились, он заехал мне локтем в глаз. Как ваши переговоры с графиней?

— Не очень удачно. Вы пойдете к ней?

— Вряд ли.

— Пойдите к ней и, ради всего святого, попросите разрешить мне переехать. Соотечественника она скорее послушает.

— Лучше я сяду на ежа, — сказал Бевилаква.

* * *

Ночью Карлу приснилось, что они переехали из гостиницы в графинину квартиру. Дети резвятся в саду среди роз. Утром он решил пойти к привратнику и предложить ему десять тысяч лир, если тот сделает новый ключ, а уж как они это устроят — будут снимать дверь или не будут, — не его печаль.

Когда он подошел к дверям квартиры, перед ней уже стояли Бевилаква с привратником, а какой-то щербатый тип ковырял в замке изогнутой проволокой. Через две минуты замок щелкнул, дверь открылась.

Они переступили порог — и у них перехватило дыхание. Совершенно убитые, они переходили из комнаты в комнату. Мебель была изрублена, притом тупым топором. Над споротым диваном дыбились пружины. Ковры изрезаны, посуда разбита, книги изорваны на мелкие клочки, а клочки рас-

киданы по полу. Белые стены все, за исключением одной, в гостиной, залиты красным вином, а та исписана нецензурными словами на шести языках, аккуратнейшим образом выведенными огненного цвета помадой.

— *Mamma mia* *.— Щербатый слесарь осенил себя крестным знаменем.

Привратник позеленел на глазах. Бевилаква залился слезами.

На пороге возник Де Веккис в неизменном лягушачьем костюме.

— *Ecco la chiave!* **— Он ликующе потрясал ключом над головой.

— Мошенник! — завопил Бевилаква.— Мразь! Чтоб тебе сгнить! Он только и думает, как бы погубить меня, — крикнул он Карлу.— А я — его! Иначе мы не можем.

— Не верю, — сказал Карл.— Я люблю эту страну.

Де Веккис запустил в них ключом и бросился наутек. Бевилаква — глаза его пламенели ненавистью — увернулся, и ключ угодил Карлу прямо в лоб, оставив отметину, которая, сколько он ни тер, никак не желала сходить.

* Ой, мамочки! (*итал.*)

** Вот он ключ! (*итал.*)

Идиоты первыми

Тонкое тиканье тусклых часов стихло. Мендель, дремавший в потемках, проснулся от страха. Он прислушался, и боль возобновилась. Он натянул на себя холодную одежду ожесточения и терял минуты, сидя на краю кровати.

— Исаак,— прошептал наконец.

В кухне Исаак, раскрыв удивленный рот, держал на ладони шесть земляных орехов. Положил их по одному на стол: один... два... девять.

По одному собрал орехи и стал в двери. Мендель в просторной шляпе и длинном пальто все еще сидел на кровати. Исаак насторожил маленькие глаза и ушки; густые волосы седели у него на висках.

— Schlaf *,— сказал он гнусаво.

— Нет,— буркнул Мендель. Он встал задыхаясь.— Идем, Исаак.

Он завел свои старые часы, хотя от вида смолкшего механизма его замутило.

Исаак захотел поднести их к уху.

— Нет, поздно уже.— Мендель аккуратно убрал часы. В ящике стола он нашел бумажный пакет с мятыми долларами и пятерками и сунул в карман пальто. Помог надеть пальто Исааку.

Исаак поглядел в темное окно, потом в другое. Мендель смотрел в оба пустых окна.

Они медленно спускались по сумрачной лестнице.

* Спать (*идиш*).

Мендель первым, Исаак сзади, наблюдая за движущимися тенями на стене. Одной длинной тени он протянул земляной орех.

— Голодный.

В вестибюле старик стал смотреть на улицу через тонкое стекло. Ноябрьский вечер был холоден и хмур. Открыв дверь, он осторожно высунулся. И сразу закрыл ее, хотя ничего не увидел.

— Гинзбург, что вчера ко мне приходил,— шепнул он на ухо Исааку.

Исаак всосал ртом воздух.

— Знаешь, про кого я говорю?

Исаак поскреб пятерней подбородок.

— Тот, с черной бородой. Не разговаривай с ним, а если он тебя позовет, не ходи.

Исаак застонал.

— Молодых людей он не так беспокоит,— добавил Мендель подумав.

Было время ужина, улица опустела, но витрины тускло освещали им дорогу до угла. Они перешли безлюдную улицу и двинулись дальше. Исаак с радостным криком показал на три золотых шара. Мендель улыбнулся, но, когда они дошли до ломбарда, сил у него не осталось совсем.

Рыжебородый, в роговых очках хозяин ломбарда ел в тылу лавки сига. Он вытянул шею, увидел их и снова уселся — хлебать чай.

Через пять минут он вышел в лавку, промокая расплющенные губы большим белым платком.

Мендель, тяжело дыша, вручил ему потертые золотые часы. Хозяин поднял очки на лоб и вставил в глаз стаканчик с лупой. Он перевернул часы.

— Восемь долларов.

Умирающий облизнул потрескавшиеся губы.

— Я должен иметь тридцать пять.

— Тогда иди к Ротшильду.

— Они стоили мне шестьдесят.

— В девятьсот пятом году.

Хозяин вернул часы. Они перестали тикать. Мендель медленно завел их. Они затикали глухо.

— Исаак должен поехать к моему дяде — мой дядя живет в Калифорнии.

— У нас свободная страна,— сказал хозяин ломбарда. Исаак, глядя на банджо, тихо заржал.

— Что с ним? — спросил хозяин.

— Восемь так восемь,— забормотал Мендель, но где я достану к ночи остальные? Сколько за мое пальто и шляпу?— спросил он.

— Не возьму.

Хозяин ушел за стеллаж и выписал квитанцию. Он запер часы в ящик стола, но Мендель все равно слышал их тиканье.

На улице он засунул восемь долларов в пакет, а потом принялся искать в карманах бумажку с адресом. Нашел и, шуря глаза, прочел под уличным фонарем.

Когда они тащились к метро, Мендель показал на окропленное небо.

— Исаак, смотри, сколько сегодня звезд.

— Яйца,— сказал Исаак.

— Сначала мы поедem к мистеру Фишбейну, а потом мы пойдem есть.

Они вышли из метро на севере Манхеттена и вынуждены были пройти несколько кварталов, прежде чем нашли дом Фишбейна.

— Настоящий дворец,— пробормотал Мендель, предвкушая минуты тепла.

Исаак смущенно смотрел на тяжелую дверь дома.

Мендель позвонил. Дверь открыл слуга с длинными бакенбардами и сказал, что мистер Фишбейн с женой обедают и никого не принимают.

— Пусть он обедает с миром, но мы подождem, чтобы он кончил.

— Приходите завтра утром. Завтра утром он с вами по-

говорит. Он не занимается благотворительными делами так поздно вечером.

— Благотворительностью я не интересуюсь...

— Приходите завтра.

— Скажи ему, что тут жизнь или смерть.

— Чья жизнь или смерть?

— Если не его, так, наверно, моя.

— Вы всегда такой остроумный?

— Посмотри мне в лицо,— велел Мендель,— и скажи, есть у меня время до завтра?

Слуга долгим взглядом посмотрел на него, потом на Исаака и неохотно впустил их в дом. Огромный вестибюль с высоким потолком, толстым цветастым ковром, пышными шелковыми драпировками, мраморной лестницей был весь увешан картинами.

В маленьких лакированных туфлях, с салфеткой, заткнутой в смокинг, по лестнице легко сбежал мистер Фишбейн — пузатый, лысый, с волосатыми ноздрями. Он остановился на пятой от низу ступеньке и оглядел пришельцев.

— Кто приходит в пятницу вечером к человеку, у которого гости, и портит ему ужин?

— Извините, мистер Фишбейн, что я вас беспокоил,— сказал Мендель.— Если бы я не пришел сегодня, завтра я бы уже не пришел.

— Без дальнейших предисловий, пожалуйста, изложите ваше дело. Я проголодался.

— Голодный,— заныл Исаак.

Фишбейн поправил пенсне.

— Что с ним такое?

— Это мой сын Исаак. Такой он всю жизнь.

Исаак захныкал.

— Я отправляю его в Калифорнию.

— Мистер Фишбейн не оплачивает частных туристских поездок.

— Я больной человек, сегодня ночью он должен уехать к моему дяде Лео.

— Я никогда не занимаюсь неорганизованной благотворительностью, но если вы голодны, я приглашу вас вниз на кухню. Сегодня у нас курица с фаршированными кишками.

— Я прошу только тридцать пять долларов на поезд до Калифорнии, где живет мой дядя. Остальные у меня уже есть.

— Кто ваш дядя? Сколько лет этому человеку?

— Восемьдесят один год, он прожил долгую жизнь.

Фишбейн рассмеялся.

— Восемьдесят один год, и вы посылаете ему этого полоумного?

Мендель замахал руками и закричал:

— Пожалуйста, без обзываний.

Фишбейн вежливо согласился.

— Где открыта дверь, там мы входим в дом,— сказал больной Мендель.— Если вы будете так добры и дадите мне тридцать пять долларов, Бог благословит вас. Что такое тридцать пять долларов для мистера Фишбейна? Ничто. Для меня, для моего мальчика это все.

Фишбейн выпрямился во весь рост.

— Частных пожертвований я не делаю — только организациям. Такова моя твердая линия.

Мендель, хрустя суставами, опустился на колени.

— Прошу вас, мистер Фишбейн, если не тридцать пять, то хотя бы двадцать.

— Левинсон! — сердито крикнул Фишбейн.

Над лестницей появился слуга с длинными бакенбардами.

— Покажи господину, где дверь, если он не захочет поесть прежде, чем покинет дом.

— От того, что я имею, курица не вылечит,— сказал Мендель.

— Сюда, пожалуйста,— сказал Левинсон, спускаясь по лестнице.

Исаак помог отцу подняться.

— Сдайте его в лечебницу,— посоветовал Фишбейн через мраморную балюстраду.

Он быстро взбежал наверх, а они тут же очутились на улице, и на них напал ветер.

Дорога до метро была утомительной. Ветер дул печально. Мендель задыхался и украдкой оглядывался на тени. Исаак, стискивая в застывшем кулаке орехи, жался к отцу. Они зашли на сквер, чтобы отдохнуть минуту на каменной скамье под голым деревом с двумя суками. Толстый правый торчал вверх, тонкий левый свисал. Медленно поднялась очень бледная луна. Так же медленно поднялся при их приближении к скамье человек.

— Пшолво рюка,— хрипло сказал он.

Мендель побелел и всплеснул высохшими руками. Исаак тоскливо завыл. Потом пробили часы — было только десять. Бородатый человек метнулся в кусты, и Мендель издал пронзительный страдальческий крик. Прибежал полицейский, ходил вокруг и около кустов, бил по ним дубинкой, но никого не поднял. Мендель с Исааком поспешили прочь из скверика. Когда Мендель оглянулся, тонкая рука у дерева была поднята, толстая опущена. Он застонал.

Они сели в трамвай и приехали к дому бывшего друга, но он давно умер. В том же квартале они зашли в закусочную и заказали яичницу из двух яиц для Исаака. Все столы были заняты, кроме одного, где сидел плотный человек и ел суп с гречкой. Они только взглянули на него и тут же заторопились к выходу, хотя Исаак заплакал.

Мендель вынул еще одну бумажку с адресом — но дом был чересчур далеко, в Куинсе, и они, дрожа, остановились в каком-то подъезде.

Что я могу сделать за один короткий час? — иступленно думал Мендель.

Он вспомнил о своей мебели. Рухлядь, но за нее можно выручить несколько долларов. «Идем, Исаак». Они опять пошли в ломбард, чтобы поговорить с ростовщиком, но свет не горел там, и стальная решетка — за ней блестели золотые часы и кольца — надежно преградила путь к месту торга.

Они прижались друг к другу за телефонным столбом. Оба мерзли, Исаак хныкал.

— Исаак, видишь, какая большая луна? Все небо белое. Он показал рукой, но Исаак не хотел смотреть.

Менделю приснилось на минуту осветившееся небо; длинные полотнища света протянулись во все стороны. Под небом, в Калифорнии, сидел дядя Лео и пил чай с лимоном. Менделю стало тепло, но проснулся он в холоде.

Через улицу стояла старая кирпичная синагога.

Мендель принялся колотить в громадную дверь, но никто не вышел. Он сделал перерыв, чтобы отдышаться, и отчаянно застучал снова. Наконец внутри послышались шаги, дверь синагоги, скрипя массивными бронзовыми петлями, открылась.

С оплывшей свечой в руке на них сердито смотрел служка в черном.

— Кто ломится с таким грохотом поздно ночью в дверь синагоги?

Мендель объяснил служке свое затруднение.

— Мне надо поговорить с раввином, прошу вас.

— Раввин пожилой человек. Он уже спит. Его жена вас не пустит. Идите домой и приходите завтра.

— С завтра я уже попрощался. Я умираю.

Служка, хотя и с сомнением, но показал на соседний лом, старый и деревянный:

— Он живет там.— Служка скрылся в синагоге с горящей свечой, распугивая тени.

Мендель с Исааком, цеплявшимся за его рукав, поднялся по деревянным ступеням и позвонил в дверь. Через пять минут на крыльце появилась грузная, седая широколицая женщина в ночной рубашке и наброшенном на плечи рваном халате. Она решительно сказала, что раввин спит и его нельзя будить.

Но пока она втолковывала это, к двери приковылял сам раввин. Он послушал с минуту и вмешался:

— Кто хочет увидеться со мной, пусть войдут.

Они очутились в захлавленной комнате. Раввин, тощий старик с согнутой спиной и сквозной белой бородкой, был во фланелевой пижаме, черной ермолке и босиком.

— *Veу is mir **,— заворчала его жена.— Или ты наденешь туфли, или завтра у тебя будет воспаление легких.— Она была заметно моложе мужа, женщина с толстым животом. Пристально посмотрев на Исаака, она отвернулась.

Мендель виновато изложил свою задачу.

— Мне нужно всего тридцать пять долларов.

— Тридцать пять,— сказала жена раввина.— Почему не тридцать пять тысяч? Кто имеет такие деньги? Мой муж — бедный раввин. Врачи отнимают последний грош.

— Дорогой друг,— сказал раввин.— Если бы у меня было, я бы вам дал.

— Семьдесят у меня уже есть,— сказал удрученный Мендель.— Мне нужно всего тридцать пять долларов.

— Бог тебе даст,— сказал раввин.

— В могиле,— ответил Мендель.— Мне нужно сегодня. Идем, Исаак.

— Подождите,— крикнул раввин.

Он торопливо ушел внутрь, вынес долгополое узкое пальто на меху и отдал Менделю.

— Яша,— взвизгнула его жена,— только не твое новое пальто!

— У меня есть старое. Кому нужно два пальто на одно старое тело?

— Яша, я кричу...

— Кто способен ходить среди больных, скажи мне, в новом пальто?

— Яша,— крикнула она,— что он будет делать с твоим пальто? Ему деньги нужны сегодня. Ростовщики спят.

— Так он их разбудит.

— Нет.— Она ухватилась за пальто.

Мендель держал его за рукав и тащил к себе. Знаю я тебя, подумал Мендель.

* Горе мне (*идиш*).

— Шейлок,— проворчал он. Глаза у нее сверкнули.

Раввин стонал и кружил по комнате как пьяный. Мендель вырвал пальто у жены, и она вскрикнула.

— Бегите,— сказал раввин.

— Бежим, Исаак.

Они высочили из дома и сбежали по ступенькам.

— Остановись, вор,— кричала жена раввина.

Раввин схватился за голову и упал на пол.

— Помогите! — зарыдала жена.— Ему плохо с сердцем!

Помогите!

А Мендель и Исаак убегали по улицам с новым меховым пальто раввина. За ними бесшумно мчался Гинзбург.

Поздно ночью в последней открытой кассе Мендель купил билет на поезд.

Купить бутерброд было уже некогда, поэтому Исаак съел свои орехи, и по огромному пустынному вокзалу они устремились к поезду.

— Утром,— задыхаясь, говорил на бегу Мендель,— приходит человек и продает бутерброды и кофе. Поешь, но возьми сдачу. Когда поезд приедет в Калифорнию, тебя будет ждать на станции дядя Лео. Если ты его не узнаешь, дядя Лео тебя узнает. Скажи ему, что я передавал привет.

Когда они подбежали к платформе, ворота туда были заперты и свет выключен.

— Поздно,— сказал контролер в кителе — грузный, бородатый мужчина с волосатыми ноздрями, пахший рыбой. Он показал на вокзальные часы:

— Уже первый час.

— Но поезд еще стоит, я вижу,— сказал Мендель, приплясывая от горя.

— Уже ушел — через одну минуту.

— Минуты хватит. Только открой ворота.

— Поздно, я сказал.

Мендель ударил себя в костлявую грудь обеими руками.

— От всего сердца прошу тебя об этом маленьком одолжении.

— Хватит с тебя одолжений. Для тебя поезд ушел. Тебе к полуночи полагалось умереть. Я тебе вчера сказал. Больше ничего не могу для тебя сделать.

— Гинзбург! — Мендель отпрянул от него.

— А кто же еще? — Голос звучал металлически, глаза поблескивали, лицо было веселое.

— Для себя,— взмолился старик,— я ничего не прошу. Но что случится с моим сыном?

Гинзбург пожал плечами.

— Что случится, то случится. Я за это не отвечаю. Мне хватит забот без того, чтобы думать о каком-то с половиной шариков.

— За что же ты тогда отвечаешь?

— Создаю условия. Чтобы случилось то, что случится. Антропоморфными делами не занимаюсь.

— Не знаю, чем ты занимаешься, но где у тебя жалость?

— Это не мой товар. Закон есть закон.

— Какой закон?

— Космический мировой закон, черт возьми, которому я сам подчиняюсь.

— Что же у тебя за закон? — закричал Мендель.— Боже мой, ты понимаешь, сколько я терпел в жизни с этим несчастным мальчиком? Посмотри на него. Тридцать девять лет, со дня его рождения я жду, когда он станет взрослым,— а он не стал. Ты понимаешь, каково это для отцовского сердца? Почему ты не пускаешь его к его дяде? — Он возвысил голос до крика.

Исаак громко захныкал.

— Ты успокойся, а то обидишь кого-нибудь,— сказал Гинзбург, моргнув в сторону Исаака.

— Всю мою жизнь,— закричал Мендель, и тело его задрожало,— что я видел? Я был бедняк. Я страдал от плохого здоровья. Когда я работал, я работал слишком много. Когда я не работал, это было еще хуже. Моя жена умерла

молодой. Но я ни от кого ничего не просил. Теперь я прошу об маленьком одолжении. Будьте так добры, мистер Гинзбург.

Контролер ковырял в зубах спичкой.

— Ты не один такой, мой друг, некоторым достается хуже. Так уж устроено.

— Пес ты пес.— Мендель схватил Гинзбурга за глотку и стал душить.— Сукин сын, есть в тебе что-нибудь человеческое?

Они боролись, стоя нос к носу. Хотя глаза у Гинзбурга изумленно выкатились, он рассмеялся.

— Попусту пищишь и ноешь. Вдребезги заморожу.

Глаза у него яростно вспыхнули, а Мендель ощутил, что нестерпимый холод ледяным кинжалом вонзается в его тело и все его части съеживаются.

Вот я умираю и не помог Исааку.

Собралась толпа. Исаак повизгивал от страха.

В последней муке прильнув к Гинзбургу, Мендель увидел в глазах контролера отражение бездонного своего ужаса. Гинзбург же, глядя Менделю в глаза, увидел в них себя, как в зеркале, узрел всю силу своего страшного гнева. Он видел мерцающий, лучистый, ослепительный свет, который рождает тьму. Гинзбург поразился.

— Кто, я?

Он отпустил извивавшегося старика, и Мендель, обмирая сердцем, повалился наземь.

— Иди,— проворчал Гинзбург,— веди его на поезд. Пропустить,— велел он охраннику.

Толпа раздалась. Исаак помог отцу подняться, и они заковыляли вниз по лестнице к платформе, где стоял освещенный и готовый к отправлению поезд.

Мендель нашел Исааку место и торопливо обнял сына.

— Помогай дяде Лео, Исаак. И помни отца и мать. Не обижай его,— сказал он проводнику.— Покажи ему где что.

Он стоял на платформе, пока поезд не тронулся с места. Исаак сидел на краешке, устремив лицо в сторону своего следования. Когда поезд ушел, Мендель поднялся по лестнице, узнать, что случилось с Гинзбургом.

Мой сын убийца

Он просыпается, чувствуя, что отец стоит в передней и прислушивается. Прислушивается к тому, как он встанет и ощупью ищет брюки. Не надевает туфли. Не идет есть на кухню. Смотрится в зеркало, зажмурив глаза. Час сидит на стульчаке. Листает книгу, не в силах читать. Прислушивается к его мучениям, одиночеству. Отец стоит в передней. Сын слышит, как он прислушивается.

Мой сын чужой, ничего не говорит мне.

Я открываю дверь и вижу в передней отца. Почему стоишь тут, почему не идешь на работу?

Потому что взял отпуск зимой, а не летом, как обычно.

И проводишь его в темной вонючей передней, следя за каждым моим шагом? Стараешься угадать, чего не видишь? Какого черта шпионишь за мной все время?

Мой отец уходит в спальню и немного погодя украдкой возвращается в переднюю: прислушивается.

Иногда слышу его в комнате, но он со мной не разговаривает, и я не знаю, что с ним. Я, отец, в ужасном положении. Может быть, он когда-нибудь напишет мне письмо: Милый папа...

Гарри, милый сын, открой дверь. Мой сын узник.

Моя жена уходит утром к замужней дочери, та ждет четвертого ребенка. Мать готовит, убирается у нее, ухаживает за тремя детьми. Беременность у дочери проходит тяжело, высокое давление, и она почти все время лежит. Так посоветовал врач. Жены целый день нет. Она боится за Гарри. С прошлого лета, когда он закончил колледж, он все время один, нервный и погружен в свои мысли. Заговоришь

с ним — в ответ чаще всего крик, а то и вообще никакого ответа. Читает газеты, курит, сидит у себя в комнате. Изредка выходит погулять.

Как погулял, Гарри?

Погулял.

Моя жена посоветовала ему пойти поискать работу, и раза два он сходил, но, когда ему предлагали место, отказывался.

Не потому, что не хочу работать. Я плохо себя чувствую.

Почему ты плохо себя чувствуешь?

Как чувствую, так и чувствую. По-другому не могу.

Ты нездоров, сынок? Может быть, покажешься врачу?

Я же просил меня так не называть. Здоровье мое ни при чем. И я не хочу об этом говорить. Работа меня не устраивала.

Устройся куда-нибудь временно, сказала ему моя жена.

Он кричит. Все временно. И так, что ли, мало временного? Я нутро свое ощущаю как временное. Весь мир временный, будь он проклят. И работу вдобавок временную? Я хочу не временного, а наоборот. Но где возьмешь? Найдешь где?

Мой отец прислушивается на кухне.

Мой временный сын.

Она говорит, что на работе мне будет легче. Я говорю, не будет. В декабре мне стукнуло двадцать два, я получил диплом в колледже, и что им можно подтереть, известно. Вечерами я смотрю новости. Изо дня в день наблюдаю войну. Большая дымная война на маленьком экране. Бомбы сыплются градом. С грохотом взмывает пламя. Иногда наклоняюсь и трогаю войну ладонью. Мне кажется, рука отсохнет.

У моего сына опустились руки.

Меня призовут со дня на день, но теперь я не так тревожусь, как раньше. Не пойду. Уеду в Канаду или куда смогу.

Его состояние пугает мою жену, и она с удовольствием уезжает утром к дочери, ухаживать за тремя детьми.

Я остаюсь с ним дома, но он со мной не разговаривает.

Позвони Гарри и поговори с ним, просит дочку моя жена.

Как-нибудь позвоню, но не забывай, что между нами девять лет разницы. По-моему, он смотрит на меня как на вторую мать, а ему и одной довольно. Я любила его маленького, но теперь мне трудно общаться с человеком, который не отвечает взаимностью.

У нее высокое давление. По-моему, она боится звонить.

Я взял две недели отпуска. Я продаю марки на почте. Я сказал директору, что неважно себя чувствую,— и это правда,— а он предложил мне отпуск по болезни. Я ответил, что не настолько болен, просто нуждаюсь в небольшом отпуске. Но моему другу Мо Беркману я объяснил, почему беру отпуск: беспокоюсь за сына.

Лео, я тебя понимаю. У меня свои волнения и тревоги. Когда у тебя подрастают две дочери, не ты хозяин своей судьбы, а она над тобой хозяйка. А все-таки жить надо. Пришел бы в пятницу вечером на покер. Компания у нас хорошая. Не лишай себя хорошего отдыха.

Посмотрю, какое будет настроение в пятницу, как пойдут дела. Не могу обещать.

Постарайся вырваться. Пройдет эта полоса, дай только срок. Если увидишь, что у вас налаживается, приходи. Да и не налаживается — все равно приходи, надо же тебе как-то развеяться, прогнать тревогу. Тревожиться все время в твоём возрасте не так полезно.

Это самая плохая тревога. Когда я тревожусь из-за себя, я знаю, о чем тревожусь. Понимаешь, тут нет никакой загадки. Я могу сказать себе: Лео, ты старый дурак, перестань тревожиться о пустяках — о чем, о нескольких долларах? О здоровье? Так оно неплохое, хотя бывают и получше дни, и похуже. О том, что мне под шестьдесят и я не молодею? Раз ты не умер в пятьдесят девять лет, доживешь до шестидесяти. Время не остановишь, оно с тобой бежит. Но когда тревожишься за другого, это гораздо хуже. Вот тут настоящая тревога — ведь если объяснить не хочет, в душу

к человеку не влезешь и причины не поймешь. Не знаешь, какой там повернуть выключатель. И только хуже тревожишься.

Вот и стою в передней.

Гарри, не тревожься так из-за войны.

Пожалуйста, не учи меня, из-за чего тревожиться, из-за чего не тревожиться.

Гарри, твой отец тебя любит. Когда ты был маленьким и я приходил с работы, ты всегда подбегал ко мне. Я брал тебя на руки и поднимал к потолку. Ты любил дотянуться до потолка ручкой.

Я больше не желаю об этом слышать. Хотя бы от этого меня избавь. Не желаю слышать, как я был маленьким.

Гарри, мы живем как чужие. Я просто подумал, что помню лучшие времена. Помню, мы не боялись показать, что любим друг друга.

Он не отвечает.

Давай я сделаю тебе яичницу.

Избавь ты меня от яичницы.

А чего ты хочешь?

Он надел пальто. Снял шляпу с вешалки и спустился на улицу.

Гарри в длинном пальто и коричневой шляпе со складкой на тулье шагал по Оушн Паркуэй. Отец шел следом, и Гарри кипел от ярости.

Он быстро шагал по широкой улице. Прежде вдоль тротуара, где проложена велосипедная дорожка из бетона, была дорожка для верховой езды. И деревьев было меньше, их сучья рассекали пасмурное небо. На углу авеню X, где уже чувствуется близость Кони-Айленда, Гарри перешел улицу и повернул к дому. Он сделал вид, что не заметил, как пересек улицу отец, но был в бешенстве. Отец пересек улицу и двигался следом. Подойдя к дому, он решил, что сын, наверно, уже наверху. Закрылся у себя в комнате. И занялся чем-то, чем он там занимается.

Лео вынул ключ и открыл почтовый ящик. В нем оказалось

три письма. Посмотрел, нет ли среди них случайно письма ему от сына. Дорогой папа, позволь тебе все объяснить. Я веду себя так потому... Письма от сына не было. Одно из Благотворительного общества почтовых служащих — его он сунул в карман. Другие два — сыну. Одно из призывной комиссии. Он понес его сыну, постучался в комнату, подождал.

Пришлось еще подождать.

На ворчание сына он ответил: тебе письмо из призывной комиссии. Он нажал на ручку и вошел в комнату. Сын лежал на кровати с закрытыми глазами.

Оставь на столе.

Гарри, хочешь, я открою?

Нет, не хочу. Оставь на столе. Я знаю, о чем оно.

Ты туда еще раз писал?

Это мое дело.

Отец оставил письмо на столе.

Второе письмо сыну он унес на кухню, затворил дверь и вскипятил в кастрюле воду. Он решил, что быстренько прочтет его, заклеит аккуратно, а потом спустится и сунет в ящик. Жена, возвращаясь от дочери, вынет письмо и отдаст Гарри.

Отец читал письмо. Это было короткое письмо от девушки. Она писала, что Гарри взял у нее две книги полгода назад, а она ими дорожит и поэтому просит вернуть их почтой. Может ли он сделать это поскорее, чтобы ей не писать еще раз?

Когда отец читал письмо девушки, в кухню вошел Гарри, увидел его ошарашенное и виноватое лицо и выхватил письмо.

Убить тебя надо за твое шпионство.

Лео отвернулся и посмотрел из маленького кухонного окна в темный двор-колодец. Лицо у него горело, ему было тошно.

Гарри пробежал письмо глазами и разорвал. Потом разорвал конверт с надписью «Лично».

Еще раз так сделаешь, не удивляйся, если я тебя убью. Мне надоело шпионство.

Гарри, как ты разговариваешь с отцом?

Он вышел из дому.

Лео отправился в комнату сына и стал ее осматривать. Заглянул в ящики комода, не нашел ничего необычного. На письменном столе у окна лежал листок. Там было написано рукой Гарри: Дорогая Эдита, шла бы ты. Еще одно дурацкое письмо напишешь — убью.

Отец взял пальто и шляпу и спустился на улицу. Сперва он бежал рысцой, потом перешел на шаг и наконец увидел Гарри на другой стороне улицы. Он двинулся следом, приотстав на полквартила.

За Гарри он вышел на Кони-Айленд авеню и успел увидеть, как сын садится в троллейбус до Кони-Айленда. Ему пришлось ждать следующего. Он хотел остановить такси и ехать за троллейбусом, но такси не было. Следующий троллейбус пришел через пятнадцать минут, и Лео доехал до Кони-Айленда. Стоял февраль, на Кони-Айленде было сыро, холодно и пусто. По Сёрф авеню шло мало машин, и пешеходов на улицах было мало. Запахло снегом. Лео шел по променаду сквозь снежные заряды и искал глазами сына. Серые пасмурные пляжи были безлюдны. Сосисочные киоски, тирры, купальни заперты наглухо. Серый океан колыхался, как расплавленный свинец, и застывал на глазах. Ветер задувал с воды, пробирался в одежду, и Лео ежился на ходу. Ветер крыл белым свинцовые волны, и вялый прибор валился с тихим ревом на пустые пляжи.

На ветру он дошел почти до западной оконечности бывшего острова и, не найдя сына, повернул назад. По дороге к Брайтон-Бичу он увидел человека, стоящего в пене прибора. Лео сбегал по ступенькам с набережной на рифленный песок. Человек этот был Гарри, он стоял по щиколотку в воде, и океан ревел перед ним.

Лео побежал к сыну. Гарри, это было ошибкой, я виноват, прости, что я открыл твое письмо.

Гарри не пошевелился. Он стоял в воде, не отрываясь глядел на свинцовые волны.

Гарри, мне страшно. Скажи, что с тобой происходит. Сын мой, смилуйся надо мной.

Мне страшен мир, подумал Гарри. Мир страшит меня. Он ничего не сказал.

Ветер сорвал с отца шляпу и покати по пляжу. Казалось, что ее унесет под волны, но ветер погнал ее к набережной, катя, как колесо, по мокрому песку. Лео гнался за шляпой. Погнался в одну сторону, потом в другую, потом к воде. Ветер прикатил шляпу к его ногам, и Лео поймал ее. Он плакал. Задыхаясь, он вытер глаза ледяными пальцами и вернулся к сыну, стоявшему в воде.

Он одинокий. Такой уж он человек. Всегда будет одиноким.

Мой сын сделал себя одиноким человеком.

Гарри, что я могу тебе сказать? Одно могу сказать: кто сказал, что жизнь легка? С каких это пор? Для меня она была не легка, и для тебя тоже. Это — жизнь, так уж она устроена... что еще я могу сказать? А если человек не хочет жить, что он может сделать, если он мертвый? Ничего — это ничего, и лучше жить.

Гарри, пойдем домой. Тут холодно. Ты простудишься в воде.

Гарри стоял в воде не шевелясь, и немного погодя отец ушел. Когда он пошел прочь, ветер сдернул с него шляпу и погнал по песку. Лео смотрел ей вслед.

Мой отец подслушивает в передней. Он идет за мной по улице. Мы встречаемся у воды.

Он бежит за шляпой.

Мой сын стоит ногами в океане.

Письмо

У ворот стоит Тедди и держит в руке письмо.

Каждую неделю по воскресеньям Ньюмен сидел с отцом на белой скамье в больничной палате перед раскрытой дверью. Сын привез ананасовый торт, но старик не притонулся к нему.

За два с половиной часа, что он провел у отца, Ньюмен дважды спрашивал:

— Приезжать мне в следующее воскресенье или, может, не надо? Хочешь, пропустим один выходной?

Старик не отвечал. Молчание могло означать либо да, либо нет. Если от него пытались добиться, что же именно, он начинал плакать.

— Ладно, приеду через неделю. Если тебе вдруг захочется побыть одному в воскресенье, дай мне знать. Мне бы тоже не мешало отдохнуть.

Старик молчал. Но вот губы его зашевелились, и после паузы он произнес:

— Твоя мать никогда не разговаривала со мной в таком тоне. И дохлых цыплят не любила оставлять в ванне. Когда она навестит меня?

— Папа, она умерла еще до того, как ты заболел и пытался наложить на себя руки. Постарайся запомнить.

— Не надо, я все равно не поверю,— ответил отец, и Ньюмен поднялся, пора было на станцию, откуда он возвращался в Нью-Йорк поездом железнодорожных линий Лонг-Айленда.

На прощание он сказал: «Поправляйся, папа» — и услышал в ответ:

— Не говори со мной как с больным. Я уже здоров.

Каждое воскресенье с того дня, как, оставив отца в палате 12 корпуса Б, Ньюмен впервые пересек больничный двор, всю весну и засушливое лето около чугунной решетки ворот, изогнувшихся аркой между двух кирпичных столбов, под высоким раскидистым дубом, тень от которого падала на отсыревшую стену, он встречал Тедди. Тот стоял и держал в руке письмо. Ньюмен мог бы выйти через главный вход корпуса Б, но отсюда было ближе до железнодорожной станции. Для посетителей ворота открывались только по воскресеньям.

Тедди толстый и смиренный, на нем мешковатое серое больничное одеяние и тряпичные шлепанцы. Ему за пятьдесят, и, наверное, не меньше его письму. Тедди всегда держал его так, словно не расставался целую вечность с пухлым, замусоленным, голубым конвертом. Письмо не запечатано, в нем четыре листка кремовой бумаги — совершенно чистых. Увидев эти листочки первый раз, Ньюмен вернул конверт Тедди, и сторож в зеленой форме открыл ему ворота. Иногда у входа толклись другие пациенты, они норовили пройти вместе с Ньюменом, но сторож их не пускал.

— Ты бы отправил мое письмо,— просил Тедди каждое воскресенье.

И протягивал Ньюмену замусоленный конверт. Проще было, не отказывая сразу, взять письмо, а потом вернуть.

Почтовый ящик висел на невысоком бетонном столбе за чугунными воротами на другой стороне улицы неподалеку от дуба. Тедди время от времени делал боксерский выпад правой в ту сторону. Раньше столб был красным, потом его покрасили в голубой цвет. В каждом отделении в кабинете врача был почтовый ящик. Ньюмен напомнил об этом Тедди, но он сказал, что не хочет, чтобы врач читал его письмо.

— Если отнести письмо в кабинет, там прочтут.

— Врач обязан, это его работа,— возразил Ньюмен.

— Но я тут ни при чем,— сказал Тедди.— Почему ты не хочешь отправить мое письмо? Какая тебе разница?

— Нечего там отправлять.

— Это по-твоему так.

Массивная голова Тедди сидела на короткой загорелой шее, жесткие с проседью волосы подстрижены коротким бобриком. Один его серый глаз налит кровью, а второй затянута бельмом. Разговаривая с Ньюменом, Тедди устремлял взгляд вдаль, поверх его головы или через плечо. Ньюмен заметил, что он даже искоса не следил за конвертом, когда тот на мгновение переходил в руки Ньюмена. Время от времени он указывал куда-то коротким пальцем, но ничего не говорил. И так же молча приподнимался на цыпочки. Сторож не вмешивался, когда по воскресеньям Тедди приставал к Ньюмену, уговаривая отправить письмо.

Ньюмен вернул Тедди конверт.

— Зря ты так,— сказал Тедди. И добавил: — Меня гулять пускают. Я почти в норме. Я на Гуадалканале воевал.

Ньюмен ответил, что знает об этом.

— А где ты воевал?

— Пока нигде.

— Почему ты не хочешь отправить мое письмо?

— Пусть доктор прочтет его для твоего же блага.

— Красотища.— Через плечо Ньюмена Тедди уставился на почтовый ящик.

— Письмо без адреса, и марки нет.

— Наклей марку. Мне не продадут одну за три пенса или три по пенсу.

— Теперь нужно восемь пенсов. Я наклею марку, если ты напишешь адрес на конверте.

— Не могу,— сказал Тедди.

Ньюмен уже не спрашивал почему.

— Это не такое письмо.

Он спросил, какое же оно.

— Голубое и внутри белая бумага.

— Что в нем написано?

— Постыдился бы,— обиделся Тедди.

Ньюмен уезжал поездом в четыре часа. Обратный путь не казался таким тягостным, как дорога в больницу, но все равно воскресенья были сущим проклятьем.

Тедди стоит с письмом в руке.

— Не выйдет?

— Нет, не выйдет,— сказал Ньюмен.

— Ну что тебе стоит.

Он все-таки сунул конверт Ньюмену и через мгновение получил его назад.

Тедди вперился взглядом в плечо Ньюмена.

У Ральфа в руке замусоленный голубой конверт.

В воскресенье у ворот вместе с Тедди стоял высокий худой суровый старик, тщательно выбритый, с бесцветными глазами, на его лысой восковой голове красовался старый морской берет времен первой мировой войны. На вид старику было лет восемьдесят.

Сторож в зеленой форме велел ему отойти в сторону и не мешать выходу.

— Отойди-ка, Ральф, не стой на дороге.

— Почему ты не хочешь бросить письмо в ящик, ведь тебе по дороге? — спросил Ральф скрипучим старческим голосом, протягивая письмо Ньюмену.

Ньюмен не взял письмо.

— А вы кто?

Тедди и Ральф молчали.

— Это отец его,— объяснил сторож.

— Чей?

— Тедди.

— Господи,— удивился Ньюмен.— Их обоих здесь держат?

— Ну да,— подтвердил сторож.

— С каких он тут пор? Давно?

— Теперь ему снова разрешили гулять. А год назад запретили.

— Пять лет,— возразил Ральф.

— Нет, год назад.

— Пять.

— Вот странно,— заметил Ньюмен,— вы не похожи.

— А сам ты на кого похож? — спросил Ральф.

Ньюмен растерянно молчал.

— Ты где воевал? — спросил Ральф.

— Нигде.

— Тогда тебе легче. Почему ты не хочешь отправить мое письмо?

Тедди, набычившись, стоял рядом. Он приподнялся на цыпочки и быстро сделал выпад правой, потом левой в сторону почтового ящика.

— Я думал, это письмо Тедди.

— Он попросил меня отправить его. Он воевал на Иводзима. Мы две войны прошли. Я был на Марне и в Аргонском лесу. У меня легкие отравлены ипритом. Ветер переменился, и фрицы сами хватанули газов. Жаль, не все.

— Дерьмо сушеное,— выругался Тедди.

— Опустит письмо, не обижай беднягу,— сказал Ральф. Дрожь била его длинное худое тело. Он был нескладным и угловатым, блеклые глаза смотрели из впалых глазниц, а черты лица казались неровными, словно их вытесали из дерева.

— Я же говорил, пусть ваш сын что-нибудь напишет в письме, тогда я его отправлю,— растолковывал Ньюмен.

— А что написать?

— Да что угодно. Разве никто не ждет от него письма? Если он сам не хочет, пусть скажет мне, я напишу.

— Дерьмо сушеное,— снова выругался Тедди.

— Он мне хочет написать,— сказал Ральф.

— Неплохая мысль,— заметил Ньюмен.— В самом деле, почему бы ему не черкнуть вам пару строчек? А может быть, лучше вам отправить ему письмецо?

— Еще чего.

— Это мое письмо,— сказал Тедди.

— Мне все равно, кто напишет,— продолжал хмуро Ньюмен.— Хотите, я напишу ему от вашего имени, выражу наилучшие пожелания. А могу и так: надеюсь, ты скоро выберешься отсюда.

— Еще чего.

— В моем письме так нельзя,— сказал Тедди.

— И в моем нельзя,— мрачно произнес Ральф.— Почему ты не хочешь отправить письмо таким, как есть? Спорим, ты трусишь.

— Нет, не трушу.

— А вот, держу пари, трусишь.

— Ничего подобного.

— Я никогда не проигрываю.

— Да что тут отправлять? В письме нет ни слова. Чистая бумага, и ничего больше.

— С чего ты взял? — обиделся Ральф.— Это большое письмо. В нем уйма новостей.

— Мне пора,— сказал Ньюмен,— а то еще на поезд опоздаю.

Сторож выпустил его. За Ньюменом закрылись ворота.

Тедди отвернулся и обоими глазами, серым и затянутым бельмом, уставился поверх дуба на летнее солнце.

У ворот, дрожа, стоял Ральф.

— К кому ты ходишь по воскресеньям? — крикнул он вслед Ньюмену.

— К отцу.

— Он на какой войне был?

— У него в черепушке война.

— Его гулять пускают?

— Нет, не пускают.

— Значит, он чокнутый?

— Точно,— ответил Ньюмен, уходя прочь.

— Стало быть, и ты тоже,— заключил Ральф.— Почему бы тебе не остаться с нами? Будем вместе время убивать.

Ссуда

Белый хлеб только подрумянивался у Леба в печи, а на сытный пьянящий дух уже стаями слетались покупатели. Застыв в боевой готовности за прилавком, Бесси, вторая жена Леба, заметила чуть в сторонке незнакомца — чахлого, потрепанного субъекта в котелке. Хотя он выглядел вполне безвредным рядом с нахрапистой толпой, ей сразу стало не по себе. Она вопросительно глянула на него, но он лишь склонил голову, как бы умоляя ее не волноваться — он, мол, подождет, готов ждать хоть всю жизнь. Лицо его светилось страданием. Напасти, видно, совсем одолели человека, въелись в плоть и кровь, и он этого уже не мог скрыть. Бесси напугалась.

Она быстро расправилась с очередью и, когда последних покупателей выдуло из лавки, снова уставилась на него.

Незнакомец приподнял шляпу:

— Прошу прощенья. Коботский. Булочник Леб дома?

— Какой еще Коботский?

— Старый друг.

Ответ напугал ее еще больше.

— И откуда вы?

— Я? Из давным-давно.

— А что вам надо?

Вопрос был обидный, и Коботский решил промолчать.

Словно привлеченный в лавку магией голосов, из задней двери вышел булочник в одной майке. Его мясистые красные руки были по локоть в тесте. Вместо колпака

на голове торчал усыпанный мукой бумажный пакет. Мука запорошила очки, побелила любопытствующее лицо, и он на поминал пузатое привидение, хотя привидением, особенно через очки, показался ему именно Коботский.

— Коботский! — чуть не зарыдал булочник: ведь старый друг вызвал в памяти те ушедшие деньки, когда оба были молоды и жилось им не так, совсем по-другому жилось. От избытка чувств на его глазах навернулись слезы, но он решительно смахнул их рукой.

Коботский стянул с головы шляпу и промокнул взопревший лоб опрятным платком; там, где у Леба вились седые пряди, у него сияла лысина.

Леб подвинул табуретку:

— Садись, Коботский, садись.

— Не здесь, — буркнула Бесси. — Покупатели, — объяснила она Коботскому. — Дело к ужину. Вот-вот набегут.

— И правда, лучше не здесь, — кивнул Коботский.

И еще счастливее оттого, что им никто теперь не помешает, друзья отправились в заднюю комнату. Но покупателей не было, и Бесси пошла вслед за ними.

Не сняв черного пальто и шляпы, Коботский взгромоздился на высокий табурет в углу, сгорбился и устроил негнущиеся руки с набухшими серыми венами на худых коленках. Леб, близоруко поглядывая на него сквозь толстые стекла, примостился на мешке с мукой. Бесси наострила уши, но гость молчал. Обескураженному Лебу пришлось самому вести разговор:

— Ах, эти старые времена! Весь мир был как новенький, и мы, Коботский, были молоды. Помнишь, только вылезли из трюма парохода, а уже записались в вечернюю школу для иммигрантов? Haben, hatte, gehabt *. — Леб даже хихикнул при звуке этих слов.

Худой как скелет Коботский словно набрал в рот воды. Бесси нетерпеливо смахивала тряпкой пыль. Время от времени она бросала взгляд в лавку: никого.

* Немецкий глагол «иметь» в трех формах.

Леб, душа общества, продекламировал, чтобы подбодрить друга:

— «Ветер деревья стал звать: «Пошли на лужайку играть». Помнишь, Коботский?

Бесси вдруг шумно потянула носом.

— Леб, горит!

Булочник вскочил, шагнул к газовой печке и распахнул одну из дверок, расположенных друг над другом. Выдернув оттуда два противня с румяным хлебом в формах, он поставил их на обитый жестью стол.

— Чуть не упустил,— расквохталась Бесси.

Леб близоруко сощурился в сторону лавки.

— Покупатели! — объявил он злорадно.

Бесси вспыхнула и ушла. Облизывая сухие губы, Коботский смотрел ей вслед. Леб принялся накладывать тесто из огромной квашни в формы. Вскоре хлеб уже стоял в печи, но и Бесси вернулась.

Медовый дух горячих буханок оживил Коботского. Он вдыхал их аромат с наслаждением, будто впервые в жизни, и даже постучал себя кулаком в грудь.

— Господи боже! До чего хорошо,— почти заплакал он.

— На слезах замешано,— сказал Леб кротко, тыча пальцем в квашню.

Коботский кивнул.

Целых тридцать лет, пояснил булочник, у него не было за душой ломаного гроша. И как-то он с горя расплакался прямо над квашней. С тех пор от покупателей отбою нет.

— Мои пирожные они не любят, а вот за хлебом так сбегаются со всех сторон.

* * *

Коботский высморкался и заглянул в лавку: три покупателя.

— Леб,— позвал он шепотом.

Булочник невольно похолодел.

Гость стрельнул взглядом на Бесси за прилавком и, подняв брови, вопросительно уставился на Леба.

Леб не открывал рта.

Коботский откашлялся.

— Леб, мне нужно двести долларов.— Голос его сорвался.

Леб медленно осел на мешок. Так он и знал. С той минуты как Коботский появился у него, он ожидал этой просьбы, с горечью вспоминая потерянную пятнадцать лет назад сотню. Коботский божился, что отдал ее, Леб уверял, что нет. Дружба поломалась. Понадобились годы, чтобы из души выветрилась обида.

Коботский опустил голову.

«Хоть сознайся, что был тогда не прав», — думал Леб и продолжал безжалостно молчать.

Коботский рассматривал свои скрюченные пальцы. Раньше он был скорняком, но из-за артрита пришлось бросить дело.

Леб молча щурился. В живот ему врезался шнурок от банджа. Грыжа. На обоих глазах катаракты. И хотя врач божился, что после операции он снова будет видеть, Леб не верил.

Он вздохнул. Бог с ней, с обидой. Была, да быльем поросла. Чего не простишь другу. Жаль только, что видно его как сквозь туман.

— Сам я да, но...— Леб кивнул в сторону лавки.— Вторая жена. Все записано на ее имя.— И он вытянул пустые ладони.

Глаза Коботского были закрыты.

— Я спрошу, конечно...— сказал Леб без всякой уверенности.

— Моей Доре требуется...

— Не нужно слов.

— Скажи ей...

— Положись на меня.

Леб схватил метлу и пошел по комнате, вздымая клубы белой пыли.

Вернулась запыхавшаяся Бесси и, посмотрев на них, сразу твердо сжала губы и стала ждать.

Леб быстро почистил в железной раковине противни, бросил формы под стол и составил вкусно пахнущие булочки на лотки. Затем заглянул в глазок печи: хлеб печется, слава богу, нормально.

Когда он повернулся к Бесси, его бросило в жар, а слова застряли в горле.

Коботский заерзал на своей табуретке.

— Бесси,— начал наконец булочник,— это мой старый друг.

Она мрачно кивнула.

Коботский приподнял шляпу.

— Сколько раз его мама, царство ей небесное, кормила меня тарелкой горячего супа. Сколько лет я обедал за их столом, когда приехал в эту страну. У него жена, Дора, очень приличная женщина. Ты с ней скоро познакомишься.

Коботский тихо застонал.

— А почему мы не знакомы до сих пор? — спросила Бесси, после двенадцати лет брака все еще ревнуя его к первой жене и ко всему, что было с ней связано.

— Познакомитесь.

— Почему не знакомы, я спрашиваю.

— Леб! — взмолился Коботский.

— Потому что я сам не видел ее пятнадцать лет,— признался булочник.

— Почему не видел? — не отставала она.

Леб немного помолчал.

— По недоразумению.

Коботский отвернулся.

— Но виноват в этом я сам,— добавил Леб.

— А все потому, что ты никуда не ходишь,— зашипела Бесси.— Потому что не вылазишь из пекарни. Потому что друзья для тебя — пустое место.

Леб важно кивнул.

— Она сейчас больна,— сказал он.— Нужна операция.

Врач запросил двести долларов. Я уже пообещал Коботскому, что...

Бесси завизжала.

Коботский со шляпой в руке сполз с табурета.

Бесси схватилась за сердце, потом подняла руку к глазам и зашаталась. Леб и Коботский бросились, чтобы подхватить ее, но она не упала. Коботский тут же отступил к табурету, Леб — к раковине.

Лицо Бесси стало как разлом буханки.

— Мне жаль вашей жены,— тихо сказала она гостю,— но помочь нам нечем. Простите, мистер Коботский, мы — бедняки, у нас нет денег.

— Есть! — в бешенстве крикнул Леб.

Подскочив к полке, Бесси схватила коробку со счетами и вывернула ее над столом, так что они порхнули во все стороны.

— Вот что у нас есть,— визгнула она.

Коботский втянул голову в плечи.

— Бесси, в банке...

— Нет!

— Я же видел книжку.

— Ну и что, если ты скопил пару долларов? А работать ты собираешься вечно? От смерти ты застрахован?

Леб не ответил.

— Застрахован? — язвила она.

Передняя дверь хлопнула. Она хлопала теперь не переставая. В лавку набились покупатели и требовали хлеба. Тяжело передвигая ноги, Бесси потащилась к ним.

* * *

Уязвленные друзья зашевелились. Коботский костлявыми пальцами начал застегивать пальто.

— Сиди,— вздохнув, сказал ему булочник.

— Извини меня, Леб.

Коботский сидел, и лицо его светилось печалью.

Когда Бесси отделалась от покупателей, Леб отправился

к ней в лавку. Он заговорил тихо, почти шепотом, и она поначалу не повышала голоса, но через минуту супруги уже вовсю ругались.

Коботский слез с табурета. Он подошел к раковине, намочил половину носового платка и приложил к сухим глазам. Затем, свернув влажный платок и затолкав его в карман пальто, вынул ножичек и быстро почистил ногти.

Когда он появился в лавке, Леб уламывал Бесси, напоминая ей, как много и тяжело он работает. И вот теперь, имея на счету пару долларов, он что, не может поделиться с дорогим для него человеком? А зачем тогда жить? Но Бесси стояла к нему спиной.

— Прошу вас, не надо ругаться,— сказал Коботский.— Я уже пошел.

Леб смотрел на него с отчаянием. Бесси даже не двинулась.

— Деньги,— вздохнул Коботский.— Я действительно просил для Доры, но она... она не заболела, Леб. Она умерла.

— Ай! — вскрикнул Леб, ломая руки.

Бесси повернула к гостю бледное лицо.

— Давно уже,— продолжал Коботский мягко.— Пять лет прошло.

Леб застонал.

— Деньги нужны для камня на могилу. У Доры нет надгробия. В следующее воскресенье будет пять лет, как она умерла, и каждый раз я обещаю: «Дора, на этот год я поставлю тебе камень», и каждый раз не выходит.

К вящему стыду Коботского, могила стояла как голая. Он давно уже дал задаток, внес пятьдесят долларов — и за камень, и чтобы имя красиво выбили, но остальных денег не набирается. Не одно мешает, так другое: в первый год — операция; во второй он не мог работать из-за артрита; на третий вдовая сестра потеряла единственного сына, и весь его мизерный заработок уходил туда; на четвертый год замучили чирьи — было стыдно показаться на улице. Правда, в этом году работа есть, но денег хватает лишь

на еду да крышу над головой, вот Дора и лежит без камня, и как-нибудь придет он на кладбище и вообще не найдет никакой могилы.

В глазах булочника стояли слезы. Он глянул на Бесси — голова непривычно склонена, плечи опущены. Значит, и ее проняло. Победа! Теперь уже она не скажет «нет», выложит денежки, и они все вместе сядут за стол перекусить.

* * *

Но даже плача, Бесси отрицательно мотала головой и, прежде чем они успели опомниться, пустилась рассказывать историю своих мытарств — как сразу после революции, когда она была еще совсем ребенком, ее любимого папочку выволокли босиком в поле, и от выстрелов поднялось с деревьев воронье, а снег заалел кровавыми пятнами; как спустя год после свадьбы ее муж, добрый, мягкий человек, счетовод с образованием — такая редкость по тем временам, — умер в Варшаве от тифа, и она, совсем одинокая в своем горе, нашла приют у старшего брата в Германии, а брат пожертвовал всем, чтобы отправить ее перед войной в Америку, сам же с женой и дочкой кончил дни в гитлеровской душегубке...

— И вот приехала я в Америку и познакомилась с бедным булочником, с босяком, который никогда не имел и гроша за душой, не видел в жизни радости, и я вышла за него, бог знает зачем, и, работая день-ночь, вот этими вот руками наладила маленькое дело, и только теперь, через двенадцать лет, мы стали немножко зарабатывать. Но ведь он больной, мой Леб, ему нужно оперировать глаза, и это еще не все. А если, упаси Господи, он помрет, что я буду делать одна? Куда пойду? Кому я нужна без денег?

Булочник, уже не раз слышавший эту историю, большими кусками засовывал в рот мякиш.

Когда Бесси кончила, он отбросил выеденную корку. Коботский в конце рассказа зажал ладонями уши.

По щекам Бесси катились слезы, но вдруг она вздер-

нула голову и подозрительно принюхалась. Потом, хрипло взыв, бросилась в заднюю комнату и с маху рванула на себя дверцу печи. В лицо ей ударило облако дыма. Буханки на противнях были черными кирпичами, обугленными трупиками.

Коботский с булочником обнялись и повздыхали о прошедшей молодости. Затем прижались друг к другу губами и расстались навсегда.

Прожиточный минимум

Зима бежала с городских улиц, но на лице Сэма Томашевского, когда он тяжело ступил в заднюю комнату своей бакалейной лавки, бушевала вьюга. Сура, доедавшая за круглым столом соленый помидор с хлебом, в испуге вскинула глаза, и помидор побагровел гуще. Она глотнула и стукнула себя в грудь пухлым кулачком, помогая пройти откушенному куску. Жест был заранее скорбный, потому что она без всяких слов, по одному его лицу, поняла, что пришла беда.

— Боже мой,— прохрипел Сэм.

Она взвизгнула так, что он невольно поежился; он устало певалился на стул. Сура, яростная и испуганная, уже стояла на ногах.

— Говори, ради Бога.

— Рядом с нами,— пролепетал Сэм.

— Что такое случилось рядом с нами? — повышая голос.

— Въезжает магазин.

— Какой магазин? — Это был пронзительный крик.

Он в ярости взмахнул руками.

— Продовольственный рядом с нами въезжает.

— Ой.— Она укусила себя за костяшку пальца и со стоном опустила обратно. Хуже быть не могло.

Целую зиму вид пустого помещения не давал им покоя. Много лет его занимал сапожник-итальянец, а потом в соседнем квартале открылась сапожная мастерская-люкс, где на витрине стучали молотками два молодца в красных комбинезонах, и всякий останавливался поглазеть. Работа у Пеллегрино иссякала, как будто чья-то рука все туже заворачивала кран, и в некий день он посмотрел на свой верстак,

и тот, когда предметы перестали плясать в глазах, воздвигся перед ним несуразный и пустой. Все утро он просидел неподвижно, но за полдень положил молоток, который сжимал в руках, надел пиджак, нахлобучил потемневшую от времени панаму, которую не забрал кто-то из клиентов, когда он еще занимался чисткой и растяжкой шляп, и пошел по соседним домам, спрашивая у бывших клиентов, не требуется ли что-нибудь починить из обуви. Улов составил две пары: мужские летние полуботинки, коричневые с белым, и женские бальные туфельки. Как раз в это время Сэм тоже обнаружил, что у него от вечного стояния на ногах по столько часов дотла износились подметки и каблук — буквально чувствуешь, как плитка на полу холодит ступню,— итого, вместе три пары, и это все, что набралось у мистера Пеллегрини за неделю,— плюс еще одна пара на следующей неделе. Когда подошел срок вносить квартирную плату за месяц вперед, он продал все на корню старьевщику, накупил конфет и пошел на улицу торговать с лотка, однако спустя немного никто больше не встречал сапожника, крепыша в круглых очках и с щетинистыми усами, который ходил зимой в летней шляпе.

Когда разломали и вывезли прилавки и прочее оборудование, когда мастерская опустела и только раковина одиноко белела в глубине, Сэм выходил при случае постоять перед нею, когда все кругом, кроме его лавки, закрывалось на ночь, и смотрел в окно, источающее пустоту. Порою, вглядываясь в пыльное стекло, откуда навстречу ему выглядывал отраженный бакалейщик, он испытывал такое ощущение, как в детстве, когда мальчишкой в Каменец-Подольском бегал — втроем с товарищами — на речку; мимоходом они, бывало, боязливо косились на высокое деревянное строение, неприятно узкое, увенчанное странной крышей в виде сдвоенных пирамидок, в котором совершилось когда-то злодейское убийство и теперь водились привидения. Обрат-но возвращались поздно, подчас при ранней луне, и обходили дом стороной, в молчании, прислушиваясь к ненасыт-

ной тишине, засасывающей комнату за комнатой все глубже, туда, где в потаенной сердцевине безмолвия клубится провал, из которого, если вдуматься, и прет наружу нечистая сила. Вот так же, чудилось, в темных углах безлюдной мастерской, где молоток и кожа в усердных руках возвращали к жизни бесчисленные вереницы обуви, и вереницы людей, приходя и уходя, оставляли частицу себя, — что, даже опустев, мастерская хранила незримые следы их присутствия, немые отголоски роились, постепенно замирая, и почему-то именно от этого становилось страшно. После, проходя мимо сапожной мастерской, Сэм даже при свете дня боялся взглянуть в ту сторону и ускорял шаги, как, бывало, в детстве, когда они обегали дом с привидениями.

Но стоило ему закрыть глаза, как мысль об опустелой мастерской, засев в мозгу, безостановочно рассверливала его бездонной черной дырой, и даже когда он спал, что-то внутри не засыпало, сверлило: а что, если такое случится с тобой? Если двадцать семь лет ты трудился как проклятый (давным-давно надо было бросить), и после этого всего твоя лавка, кровное твое дело... после стольких лет — эти годы, эти тысячи консервных банок, и каждую перед тем, как убрать, протрешь; эти ящики с молоком, как пудовые гири, когда их до рассвета затаскиваешь с улицы и в стужу, и в жару; оскорбления, мелкие кражи, кредит, который ты, бедняк, предоставляешь скрепя сердце обедневшим; эти облезлые потолки и засиженные мухами полки, вздутые консервы, грязь, расширенные вены, эта каторга по шестнадцать часов в день, когда поутру просыпаешься, словно от увесистой оплеухи и чугунная голова клонит за собою книзу, сутуля тебе спину; эти часы, эта работа, эти годы — милый Бог, на что ушла моя жизнь? Кто спасет меня теперь и куда мне податься, куда? Часто одолевали его такие мысли, но месяц проходил за месяцем, и они отступали, и объявление «СДАЕТСЯ», которое бесстыдно пялилось из окна, пожухло и слетело вниз, так что откуда бы, кажется, узнать кому-то, что помещение свободно? Да вот узнали.

Сегодня, когда он, можно сказать, окончательно распростился со своими страхами, его хлестнул по глазам транспарант с красной надписью: «ЗДЕСЬ БАКАЛЕЙНО-ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ОТКРЫВАЕТ НОВЫЙ ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН СТАНДАРТНЫХ ЦЕН», — и нож вошел в его сердце, и горе объяло его.

Наконец Сэм поднял голову.

— Пойду схожу туда к домохозяину.

Сура взглянула на него из-под набрякших век.

— И таки что ты скажешь?

— Поговорю с ним.

В другое время она сказала бы: «Сэм, тебе надо делать глупостей?» — но сейчас промолчала.

Отворачиваясь, чтобы не видеть лишний раз, как полыхает в витрине новое объявление, он вошел в парадное соседнего дома. Унылый электрический свет, падая с высоты, когда он с усилием взбирался по лестнице, наваливался на него все сильнее с каждым шагом. Он ступал нехотя, сам не зная, что сказать домохозяину. Дойдя до верхнего этажа, остановился: за дверью женщина сыпала по-итальянски, проклиная свою судьбу. Сэм уже поставил ногу на верхнюю ступеньку, готовый сойти вниз, как вдруг услышал рекламу кофе и догадался, что это передавали пьесу по радио. Теперь радио выключили, наступила томительная тишина. Он прислушался, но голосов внутри как будто не услышал и, не давая себе больше времени на размышления, постучал. Он немного робел и маялся ожиданием, покуда медлительные грузные шаги хозяина, он же был и парикмахер с той стороны улицы, не приблизились к двери и она — после нетерпеливой возни с замком — не отворилась.

Когда парикмахер увидел на площадке Сэма, он смешался, и Сэм мгновенно понял, почему он за последние две недели ни единого разочка не зашел к нему в лавку. Правда, это не помешало парикмахеру радушно пригласить Сэма на кухню, где его жена и незнакомый мужчина сидели за столом с полными тарелками спагетти.

— Спасибо,— застенчиво сказал Сэм.— Я только что покушал.

Парикмахер вышел на площадку и закрыл за собой дверь. Он бесцельно окинул взглядом лестничный марш и повернулся лицом к Сэму. В его движениях сквозила нерешительность. С тех пор как у него сын погиб на войне, он стал рассеянным, и, наблюдая, как он ходит, можно было вообразить иногда, что он влачит за собою тяжесть.

— Это правда? — спросил Сэм, пересиливая неловкость.— То, что там сказано внизу на объявлении?

— Сэм,— горестно начал парикмахер. Он вытер губы бумажной салфеткой, которую держал в руке, и сказал: — Сэм, вам известно, что эта мастерская, я от нее семь месяцев не вижу дохода?

— Мне известно.

— Я себе не могу позволить. Я подждал, ну, винную лавку или же, например, скобяные товары, но таких предложений я не имел ни одного. Теперь в том месяце — вот предложение насчет магазина стандартных цен, после чего я жду пять недель, а вдруг что-нибудь. Принял его, что будешь делать, нужда заставила.

Тени сгустились в темноте. Каким-то образом здесь присутствовал Пеллегрини, стоял с ними на верхней площадке лестницы.

— Когда они въезжают? — Сэм вздохнул.

— Не раньше мая.

У бакалейщика не хватило сил сказать что-нибудь на это. Они смотрели друг на друга, не зная, что придумать. Парикмахер все-таки сумел выдать из себя смешок и заявил, что Сэму от магазина не будет никакого ущерба.

— Почему это?

— Потому что вы держите товары других марок, и, когда покупателю нужна такая марка, он идет к вам.

— Зачем ему ко мне, если у меня дороже?

— Фирменный магазин соберет много новых покупателей, возможно, им понравятся те товары, которые у вас.

Сэму сделалось стыдно. Он не сомневался, что парикмахер говорит чистосердечно, но выбор у него в лавке был скудный, и он не представлял себе, чтобы покупатель фирменного магазина мог соблазниться тем, что может предложить он.

Придерживая Сэма за локоть, парикмахер доверительно рассказал ему про одного знакомого, который владеет мясной лавкой бок о бок с супермаркетом «Эй энд Пи» и благоденствует.

Сэм честно старался поверить, что будет благоденствовать, но не мог.

— Вы таки уже с ними подписали контракт? — спросил он.

— Нет, в пятницу, — сказал парикмахер.

— В пятницу? — Сэм загорелся безумной надеждой. — Может быть, — проговорил он, с трудом унимая волнение, — может, я вам до пятницы найду другого съемщика?

— Какого съемщика?

— Съемщик есть съемщик.

— Какое дело он интересуется открыть?

Сэм лихорадочно соображал.

— Обувное, — сказал он.

— Сапожник?

— Нет, обувную лавку, где продается обувь.

Парикмахер задумался. Наконец он сказал, что если Сэм приведет ему съемщика, то он не станет подписывать контракт с магазином стандартных цен.

Сэм спускался по лестнице, и свет от лампочки наверху понемногу отпускал его плечи, но тяжесть оставалась, потому что никого не было у него на примете, кто хотел бы снять помещение.

И все же двоих он до пятницы наметил. Один из них, рыжий, состоял в посредниках у оптовика-бакалейщика и в последнее время присматривал себе новые торговые заведения для вложения капитала, но когда Сэм позвонил ему, то выяснилось, что для него мог бы представлять интерес

только высокоприбыльный продовольственный магазин, что в данном случае никак не решало вопроса. Второму он решился позвонить не сразу, потому что недолюбливал его. То был И. Кауфман, человек с бородавкой под левой бровью, в прошлом — торговец тканями. Кауфман удачно провернул несколько сделок по продаже недвижимости и хорошо на этом нажился. Когда-то, много лет назад, их с Сэмом лавки на Марси авеню в Вильямсбурге стояли рядом. Сэм держал его за невежу и не стеснялся высказывать свое мнение, за что Сура не раз поднимала его на смех, поскольку Кауфман, между прочим, преуспел, а Сэм что? При всем том они оставались в хороших отношениях, возможно, потому, что бакалейщик никогда не просил об одолжениях. Если Кауфман на своем «бьюике» оказывался поблизости, он обыкновенно заезжал к ним, что не нравилось Сэму, и чем дальше, тем больше, ибо Кауфман был любитель давать советы, и после этого Сура, когда он уезжал, принималась его песочить.

Пересилив себя, он позвонил. Кауфман с величественным удивлением выслушал его и отвечал, хорошо, он посмотрит, что можно сделать. В пятницу утром парикмахер убрал с витрины красное объявление, чтобы не отпугнуть предполагаемого съемщика. Ближе к полудню в дверь, опираясь на трость, прошествовал Кауфман, и Сэм, который ради такого случая расстался, по настоянию Суры, со своим фартуком, стал объяснять, что свободное помещение рядом идеально подошло бы, им кажется, под обувную лавку, тем более что по соседству ни одной нет, а цену просят божескую. И так как Кауфман постоянно вкладывает деньги в разные предприятия, им подумалось, что это его, возможно, заинтересует. Пришел с той стороны улицы парикмахер, отпер дверь. Кауфман протопал в пустую мастерскую, придирчиво осмотрел, как все внутри устроено, проверил, не отстают ли половицы, оглядел сквозь забранное решеткой окно задний дворик, прикинул, сощуря глаз и шевеля губами, сколько потребуется установить стеллажей и во что это обойдется.

Потом спросил у парикмахера насчет платы, и парикмахер назвал скромную цифру.

Кауфман глубокомысленно покивал головой и ничего не сказал на месте ни тому, ни другому, но в лавке с негодованием напустился на Сэма за то, что по его милости потерял даром время.

— Не хотелось срамить вас в присутствии гося, — с возмущением говорил он, наливаясь кровью до самой бородавки, — но кто, по-вашему, станет в здравом уме открывать обувную лавку в этом паршивом районе?

Перед уходом из него, точно зубная паста из тюбика, полезли добрые советы, а завершил он их напоследок словами:

— Если здесь будет фирменный продуктовый магазин, вам крышка. Унесите отсюда ноги, пока вас не разули и не раздели догола.

И убрался на своем «бьюике». Сура собралась было продолжить эту тему, но Сэм грохнул кулаком по столу, и на том дело кончилось. Вечером парикмахер снова вывесил красное объявление в витрине, потому что он подписал контракт.

Лежа без сна по ночам, Сэм явственно представлял себе, что делается сейчас в мастерской, хотя ни разу к ней близко не подходил. Видел, как плотники распиливают пахучую сосновую древесину и она податливо уступает острым зубьям и превращается в полки, которые ярус за ярусом вырастают почти до потолка. А вот, с брызгами краски, засохшими на лицах, явились маляры, один долговязый, один низенький, определенно ему знакомый. Густо побелили потолки, а стены покрыли краской светлых тонов, непрактичной для продовольственного магазина, но зато ласкающей глаз. Пожаловали электрики с лампами дневного света, напрочь затмевающими тускло-желтое свечение обычных круглых лампочек, а после них монтажники стали сгружать с фургонов длинные мраморные прилавки, отливающий эмалью трехстворчатый застекленный холодильник.

ник — для маргарина, для столового масла, для масла высших сортов; сливочной белизны камеру для свежемороженых продуктов, последнюю новинку. Любуясь на все это, он оглянулся проверить, не следит ли кто-нибудь за ним, и когда, удостоверясь, что нет, повернулся обратно, то оказалось, что стекло витрины замазали белилами и больше ничего не разглядеть. Здесь он почувствовал надобность встать и закурить сигарету, его тянуло надеть брюки и тихонько спуститься в шлепанцах вниз, поглядеть, действительно ли витрина замазана краской. Опасение, что это вправду может быть так, удержало его, он улегся назад в постель, но сон по-прежнему не шел к нему, и он, вооружась тряпочкой, трудился до тех пор, покуда не протер посередине белого стекла глазок, и расширял его, пока не стало хорошо все видно. Установка оборудования закончилась; магазин сверкал новизной, просторный, готовый принять товары,— одно удовольствие зайти. Мне бы такой, прошептал он про себя, но тут прямо в ухо ему затрещал будильник, пора было подниматься, затаскивать ящики с молоком. В восемь утра вдоль по улице подкатили три здоровенных грузовика; шесть молодых ребят в полотняных белых куртках прыгнули вниз и за семь часов загрузили магазин до отказа. У Сэма весь этот день так сильно билось сердце, что он изредка поглаживал его ладонью, словно бы удерживая птицу, которая рвалась улететь.

В день открытия в середине мая, когда в витрине магазина красовался венок из роз, сплетенный в виде подковы, Сура вечером подсчитала недельную выручку и объявила, что она сократилась на десять долларов,— не так уж страшно, сказал Сэм, и тогда она напомнила, что шестью десять — шестьдесят. Она не скрываясь плакала, твердя сквозь слезы, что надо что-то *делать*, и довела Сэма до того, что он выдраил каждую полку мокрой ветошью, которую она ему подавала, навошил полы и вымыл, изнутри и снаружи, окно на улицу, которое она заново убрала белой папиросной бумагой, купленной в мелочной лавочке. Потом велела позвонить

оптовому, и тот по списку перечислил товары, которые идут на этой неделе со скидкой; когда их доставили, Сэм соорудил в витрине огромную — три ящика пошло — пирамиду из консервных банок. Только никто почему-то не кинулся покупать. Выручка за неделю упала на пятьдесят долларов, и Сэм подумал, если так пойдет, то ничего, жить можно, и сбавил цену на пиво, вывел жирными черными буквами на оберточной бумаге, что на пиво цены снижены, и выставил объявление в окне, и продал в этот день на целых пять ящиков больше, хотя Сура ворчала, что без толку, раз они с этого ничего не имеют — наоборот, теряют на бумажных пакетах, — а покупатели, зайдя за пивом, идут за хлебом и консервами в соседний магазин. Сэм все-таки продолжал надеяться, однако через неделю выручка сократилась уже на семьдесят два доллара, а еще через две — ровно на сотню. В фирменном магазине управляющий с двумя продавцами день-деньской с ног сбивались, но у Сэма ничего похожего на наплыв покупателей больше не наблюдалось. Потом он выяснил, что там у них имеется абсолютно все, что бывает у него, и еще многое такое, чего у него не бывает, — и страшный гнев на парикмахера охватил его.

Летом, когда торговля у него обычно шла получше, торговля шла плохо; осенью — и того хуже. Такая тишина поселилась в лавке, что когда кто-нибудь открывал дверь, душа изнывала от блаженства. Долгие часы просиживали они под голой лампочкой в глубине лавки, читая и перечитывая газету, с надеждой отрываясь от нее, когда кто-нибудь на улице проходил мимо, но старательно отводя глаза, когда понятно становилось, что идут не к ним, а к соседям. Сэм теперь запирает на час позже, в двенадцать ночи, отчего сильно уставал, но зато в этот лишний час ему перепал доллар, а то и два от хозяек, у которых вышло все молоко или в последнюю минуту обнаружилось, что в доме нет хлеба на бутерброд ребенку в школу. Чтобы урезать расходы, он убрал один из двух светильников с витрины и один из плафонов в лавке. Он снял телефон, закупал бумажные

пакеты у лоточников, брился через день и, хотя ни за что бы в том не признался, меньше ел. Вдруг в неожиданном приливе оптимизма заказал на оптовом складе восемнадцать ящиков товара и заполнил пустующие отделения на полках, броско обозначив низкие цены, — только, как говорила Сура, кому им бросаться в глаза, если никто не приходит? Люди, которых он на протяжении десяти, пятнадцати, даже двадцати лет видел каждый день, исчезли, как будто переехали жить в другой район или поумирали. Иногда, торопясь доставить на дом небольшой заказ, он встречал кого-нибудь из бывших покупателей, и тот поспешно переходил на другую сторону, а нет, так круто поворачивал назад и шел в обход квартала. Парикмахер тоже его избегал, да он и сам избегал парикмахера. Зрел втайне замысел обвешивать покупателей на развесных товарах, но не хватало духу. Явилась мысль ходить по квартирам и собирать заказы, которые он будет сам же доставлять, но потом вспомнился мистер Пеллегрини, и мысль отпала. Сура, которая всю их совместную жизнь пилила его без устали, теперь сидела в задней комнате и молчала. Когда Сэм подсчитал приход за первую неделю декабря, он понял, что надеяться больше не на что. За стеной гулял ветер, и в лавке было холодно. Он объявил, что продает ее, но желающих купить не находилось.

Как-то утром Сура встала и не торопясь в кровь расцарапала себе ногтями щеки. Сэм перешел через улицу и велел, чтобы его постригли. Прежде он ходил стричься раз в месяц, но сейчас, за десять недель, волосы отросли и покрывали шею сзади, словно толстая шкура. Парикмахер их стриг с зажмуренными глазами. Потом Сэм вызвал аукциониста, и тот прибыл с двумя бойкими помощниками и красным аукционным флагом, который бился и хлопал на ледяном ветру, точно в праздник. Они не выручили и четверти тех денег, которые надо было заплатить кредиторам. Сэм с Сурой заперли помещение и уехали. До конца жизни ни разу больше не побывал он в старом районе, опасаясь, что лавка так и стоит пустая: ему жутко было заглянуть в окно.

В могилу свели

Маркус портняжничал издавна, с довоенной поры — легкого характера человек с копной седеющих волос, хорошими, чуткими бровями и добрыми руками,— и завел торговлю мужской одеждой в относительно пожилые годы. Достаток, как говорится, стоил ему здоровья, пришлось поэтому посадить себе в помощь, на переделку, портного в задней комнате, но с гладкой, когда работы набиралось невпроворот, он не справлялся, так что понадобилось еще нанимать гладильщика, и оттого хотя дела в лавке шли прилично, но могли бы идти и лучше.

Они могли бы идти гораздо лучше, если б гладильщик, Йосип Брузак, грузный, налитой пивом, потливый поляк, работавший в исподней рубахе и войлочных шлепанцах, в штанах, съезжающих с могучих бедер и набегающих гармошкой на щиколотки, не воспылал яркой неприязнью к портному, Эмилио Визо — или это произошло в обратном порядке, Маркус точно не знал,— сухому, тощему сицилийцу с куриной грудью, который, то ли в отместку, то ли еще почему, платил поляку неистребимой злобой. Из-за их стычек страдало дело.

Отчего они так враждовали, шипя и пыжась, точно драчливые петухи, и не стесняясь к тому же в выражениях, употребляя черные, неприличные слова, так что клиенты обижались, а у Маркуса от неловкости порой до дурноты мутилось в голове, было загадкой для торговца, который знал их невзгоды и видел, что по-человечески они во многом похожи. Брузак, который обитал в мебелированной

трущобе неподалеку от Ист-Ривер, за работой насасывался пивом и постоянно держал полдюжины бутылок в ржавой кастрюле со льдом. Маркус вначале возражал, и Йосип, неизменно уважительный к хозяину, убрав кастрюлю, стал исчезать с черного хода в пивную на углу, где пропускал свою кружку, теряя на этой процедуре такое количество драгоценного времени, что Маркусу оказалось выгоднее вернуть его назад к кастрюле. Ежедневно в обеденный перерыв Йосип доставал из стола острый маленький нож и, отрезая толстыми кусками твердокопченую чесночную колбасу, поедая ее с пухлыми ломтями белого хлеба, запивая все это пивом, а напоследок — черным кофе, который он варил на одноконфорочной газовой плитке для портновского утюга. Иногда он готовил себе жидкую похлебку с капустой, которой прованивал насквозь все помещение, но вообще ни колбаса, ни капуста его не занимали и он ходил целыми днями понурый, озабоченный, покуда, обыкновенно на третьей неделе, почтальон не приносил ему письмо из-за океана. Когда приходили письма, он, случалось, разрывал их пополам нетерпеливыми пальцами; забыв о работе, он усаживался на стул без спинки и выуживал из того же ящика, где хранилась колбаса, треснувшие очки, цепляя их за уши при помощи веревочных петель, привязанных вместо сломанных дужек. Потом читал зажатые в кулаке листки дрянной бумаги, неразборчивые польские каракули, выведенные блекло-бурыми чернилами, — слово за словом, вслух, так что Маркус, который понимал по-польски, но предпочел бы не слышать, слышал. Уже на второй фразе у гладильщика искажалось лицо, и он плакал, размазывая слезы по щекам и подбородку, и это выглядело так, словно его опрыскали средством от мух. Под конец он разражался надрывными рыданиями — ужасная картина, — после чего часами ни на что не годился, и утро шло насмарку.

Маркус сколько раз подумывал, не сказать ли ему, чтобы читал свои письма дома? но у него сердце кровью обливалось от известий, которые содержались в них, и просто

язык не поворачивался сделать выговор Йосипу, который, к слову сказать, был мастер в своем деле. Уж если он принимался за ворох костюмов, то машина шипела паром без передышки и вещь из-под нее выходила аккуратная, без единого пузыря или морщинки, а рукава, брючины, складки — бритвенной остроты. Что же касается известий, которые содержались в письмах, они были неизменно об одном и том же: о горестях его чахоточной жены и несчастного четырнадцатилетнего сына, которого Йосип никогда не видал, кроме как на фотографиях, — мальчика, живущего буквально хуже свиньи в хлеву, и притом хворого, так что если бы даже отец скопил ему денег на дорогу и выхлопотал визу, все равно ни один врач из службы иммиграции не пропустил бы его в Америку. Маркус не однажды совал гладильщику то костюмчик для посылки сыну, то, изредка, небольшую наличность, но не поручился бы, что до него это доходит. Его смущала непрощеная мысль, что за четырнадцать-то лет Йосип бы мог, при желании, перевезти мальчика к себе, и жену тоже, не дожидаясь, пока она дойдет до чахотки, но почему-то предпочитал вместо этого оплакивать их на расстоянии.

Эмилио, портной, был тоже своего рода волк-одиночка. Обедал он каждый день за сорок центов в ресторанчике квартала за три, но торопился назад прочесть свой «Соггеге». Странность его состояла в том, что он постоянно нашептывал что-то себе под нос. Что именно — разобрать никто не мог, но во всяком случае — что-то настойчивое, с присвистом, и где бы он ни стоял, оттуда несся этот свистящий шепот, то горячо убеждая, то тихонько постанывая, хотя плакать он никогда не плакал. Он шептал, пришивая пуговицу, укорачивая рукав или орудуя утюгом. Шептал по утрам, когда снимал и вешал пиджак, и продолжал шептать вечером, когда надевал черную шляпу, вправлял, скорчась, худые плечи в пиджак и покидал в одиночестве лавку. Только раз он дал понять, о чем этот шепот: как-то утром, когда хозяин, заметив, как он бледен, принес

ему чашку кофе, портной в благодарность за это признался, что жена, которая на прошлой неделе вернулась, опять его оставила, — и он простер вперед костлявую растопыренную пятерню, показывая, что она сбежала от него в пятый раз. Маркус выразил ему сочувствие и с тех пор, заслышав, как в задней комнате шепчет портной, воображал себе, что к нему откуда-то, где она пропадала, возвратилась жена, клянясь, что теперь уже навсегда, но ночью, когда они лежали в постели и он общептывал ее в темноте, поняла, до чего ей это надоело, и к утру исчезла. Нескончаемый шепот портного действовал Маркусу на нервы; он выходил из лавки послушать тишину, но все-таки продолжал держать Эмилио, потому что тот был отличный портной, сущий бес, когда брал в руки иголку, мог идеально пришить манжету за то время, пока обычный работник еще ковырялся бы, снимая мерку, — такой портной большая редкость, его поди-ка поищи.

Больше года, хотя каждый производил по-своему шум в задней комнате, гладильщик и портной, казалось, не обращали друг на друга внимания; потом, в один день, словно рухнула между ними невидимая стена, они стали смертельными врагами. Маркус волею случая присутствовал в самый миг зарождения разлада: однажды днем, оставив клиента в лавке, он отлучился в мастерскую за мелком для разметки и застал там зрелище, от которого похолодел. При ярком свете послеполуденного солнца, которое заливало помещение, ослепив на секунду торговца, так что он успел подумать, не обманывают ли его глаза, они стояли, каждый в своем углу, пристально уставясь друг на друга, а между ними — живая, почти косматая — пролегла звериная ненависть. Поляк, ощерясь, сжимал в дрожащей руке тяжелый деревянный валеk от гладильного катка; портной, побелев до синевы, по-кошачьи выгнув спину возле стены, высоко занес в окостенелых пальцах ножницы для раскроя.

— Вы что? — закричал Маркус, когда к нему снова вернулся голос, но ни тот, ни другой не нарушил тяжелого

молчания, оставаясь в том же положении, в котором он их застиг, и глядя друг на друга в упор из противоположных углов, причем портной шевелил губами, а гладильщик дышал словно пес в жаркую погоду — и что-то жуткое исходило от них, о чем Маркус до сих пор не подозревал.

— Бог мой,— крикнул он, покрываясь холодной, липкой испариной,— говорите же, что у вас случилось.— Но они не отзывались ни звуком, и он гаркнул сквозь сдавленную глотку, отчего слова вырвались наружу с мучительным хрипом: — А ну-ка работать! — почти не надеясь, что ему повинуются, и когда они повиновались — Брузак грузно шагнул к своей машине, а портной взялся непослушными руками за горячий утюг,— смягчился от их покорности и, будто обращаясь к детям, сказал со слезами на глазах: — Ребятки, запомните, не надо ссориться.

Потом он стоял один в затененной лавке, неподвижно глядя ни на что сквозь стекло входной двери, и мысли о них — совсем рядом, у него за спиной — уводили его в неизвестный, пугающий мир с серой травой в солнечных пятнах, полный стонов и запаха крови. У него в голове из-за них мутилось. Он опустился в кожаное кресло, моля Бога, чтобы не зашел никто из клиентов, пока не прояснится голова. Со вздохом закрыл глаза и, чувствуя, что волосы вновь зашевелились от ужаса, увидел мысленно, как эти двое кружат, гоняясь друг за другом. Один неуклюже улепетывал, а второй преследовал его по пятам за то, что тот стащил у него коробку со сломанными пуговицами. Обежав раскаленные и курящиеся пески, они вскарабкались на крутой скалистый утес и, тесно сплетенные в рукопашной, закачались на краю обрыва, покуда один не оступился на осклизлых камнях и не упал, увлекая другого за собой. Вскидывая руки, они цеплялись скрюченными пальцами за пустоту и скрылись из виду, и Маркус, свидетель этого, проводил их беззвучным воплем.

Так он сидел, преодолевая дурноту, пока подобные мысли не оставили его.

Когда он опять пришел в себя, память преобразила все это в некий сон. Он не хотел сознаваться, что стряслось неладное, но, зная все же, что стряслось, называл это про себя пустяком — разве не наблюдал он сто раз стычки вроде этой на фабрике, где работал по приезду в Америку? — пустяки, которые забывались начисто, а ведь какие бывали жестокие стычки.

Тем не менее на другой же день, и ни дня с тех пор не пропуская, двое в задней комнате, распаленные ненавистью, затевали шумные скандалы, которые шли во вред делу; они лаялись как собаки, обливая друг друга грязной бранью, и приводили этим хозяина в такое замешательство, что как-то раз, в помрачении, он обмотал себе шею мерной лентой, которую обыкновенно носил наброшенной на плечи наподобие шарфа. Тревожно переглянувшись с клиентом, Маркус поспешил скорей снять мерку; клиент же, который любил, как правило, помедлить в лавке, обсуждая свой новый костюм, расплатился и торопливо ушел, спасаясь от непристойной перебранки, происходящей за стеной, но отчетливо слышной в переднем помещении, так что от нее некуда было укрыться.

Они не только ругались и призывали друг на друга всяческие напасти — на родном языке каждый позволял себе вещи почище. Торговец слышал, как Йосип грозитя попольски, что вырвет кой-кому причинные части и засолит кровавое месиво, он догадывался, что, значит, и Эмилио бормочет примерно то же, и ему делалось тоскливо и противно.

Не раз он наведывался в заднее помещение унимать их, и они слушали каждое его слово с интересом и терпением, так как он, мало того, что добряк — это было заметно по глазам, — умел хорошо говорить, и оба это ценили. И однако, какие бы он ни находил слова, все было напрасно, потому что стоило ему замолчать и отойти от них, как все начиналось сначала. В сердцах Маркус уединялся в лавке и сидел со своей печалью под ходиками с желтым цифербла-

том, слушая, как тикают прочь желтые минуты, пока не наступало время кончать работу — удивительно, как они еще умудрялись что-то сделать, — и идти домой.

Маркуса подмывало дать им обоим пинка под зад и выгнать, но он не представлял себе, где взять других таких умелых и, по сути, дельных работников, чтобы при этом не потребовалось осыпать их золотом с головы до ног. Идея об исправлении одержала верх, и потому однажды в полдень он перехватил Эмилио, когда тот уходил обедать, зазвал его шепотом в уголок и сказал:

— Послушайте, Эмилио, вы же умный человек, скажите, что вы с ним воюете? За что вы ненавидите его, а он — вас и почему вы ругаетесь такими неприличными словами?

Но хоть шептаться с ним было приятно портному, который таял перед хозяином, словно воск, и любил такие маленькие знаки внимания, он только спрятал глаза и густо покраснел, а отвечать не захотел или не смог.

И Маркус просидел остаток дня под часами, заткнув уши пальцами. А вечером перехватил гладильщика по дороге к выходу и сказал ему:

— Прошу вас, Йосип, скажите, что он вам сделал? Зачем вам эти ссоры, Йосип, вам мало, что у вас больная жена и сын?

Но Йосип, который тоже любовно относился к хозяину — он, хотя и поляк, не был антисемитом, — лишь сгреб его в медвежью охапку и, поминутно подтягивая штаны, которые съезжали вниз и затрудняли ему движения, прошелся с Маркусом в тяжеловесной польке, потом с гоготом отстранил его и удалился вприпляску, под пивными парами.

Наутро, когда они снова подняли безобразный гвалт и сразу спугнули покупателя, Маркус влетел к ним в мастерскую, и оба — с серыми от натуги, измученными лицами — прекратили грызню и слушали, как хозяин слезно молит и стыдит их, причем с сугубым вниманием слушали, когда он, которому было несвойственно орать, понизил тон и стал давать им советы, маленькие наставления тихим, пристой-

ным голосом. Он был высокого роста, совсем худой из-за своей болезни. Что оставалось на костях, истаяло еще больше за эти трудные месяцы, а голова окончательно поседела, так что теперь, стоя перед ними и стараясь урезонить их, усостить, он напоминал по виду старца-отшельника, а может быть, и святого, и работники внимали ему с почтением и жадным интересом.

Он рассказал им поучительную историю про своего дорогого папу, ныне покойного, а тогда они жили всей семьей в одной из убогих хат зачуханной деревеньки, десять душ ребятишек мал мала меньше — девять мальчиков и недоросток-девочка. Ой, в какой бедности жили — невозможно: он, случалось, жевал кору и даже траву, от которой раздувало живот; часто мальчики, не помня себя от голода, кусали друг друга, а то и сестру, за руку или за шею.

— Так мой бедный папа, который ходил с длинной бородой вот досюда... — он нагнулся, приложил руку к колену, и мгновенно у Йосипа навернулись слезы, — папа говорил: «Дети, мы люди бедные и повсюду, куда бы ни подались, чужие, давайте же хотя бы жить в мире, иначе...»

Но торговцу не пришлось договорить, потому что гладильщик, который плюхнулся на стул без спинки, где обыкновенно читал свои письма и тихонько поскуливал, раскачиваясь из стороны в сторону, разревелся, а портной задергал горлом с каким-то странным щелканьем и должен был отвернуться.

— Обещайте, — взмолился Маркус, — что не будете больше ссориться.

Йосип прорыдал, что обещает; Эмилио, со слезами на глазах, серьезно кивнул головой.

Вот славно, вот это по-людски, возликовал торговец и, осенив их своим благословением, пошел прочь, но не ступил еще за порог, как воздух позади заволочло их яростью.

Сутки спустя он их разгородил. Пришел плотник и поставил глухую перегородку, разделив пополам рабочее пространство гладильщика и портного, и между ними наконец-то

воцарилась ошеломленная тишина. Больше того, они хранили нерушимое молчание целую неделю. Маркус, будь у него побольше силенок, наверное, подпрыгнул бы от радости и пустился в пляс. Он замечал, конечно, что гладильщик время от времени отрывается от работы и озадаченно подходит к новой двери взглянуть, по-прежнему ли на месте портной, и что портной делает то же самое,— однако дальше этого не шло. Эмилио теперь уже не шептался сам с собой, а Йосип Брузак не притрагивался к пиву, и когда из-за океана прибывало выцветшее письмо, забирал его домой и читал возле грязного окна своей темной каморки; по вечерам, хотя в комнате было электричество, он любил читать при свече.

Однажды в понедельник он полез утром в ящик стола за своей чесночной колбасой и обнаружил, что она небрежно сломана надвое. Зажав в руке остроконечный ножик, он кинулся на портного, который как раз в этот миг, из-за того, что кто-то раздавил его черную шляпу, налетал на него с раскаленным утюгом. Он хватил им гладильщика по мясистой, как ляжка, руке, и на ней, завоняв паленым, открылась багровая рана; в это время Йосип ударил его в пах и с минуту не выдерживал ножик.

Воя, причитая, прибежал хозяин и, невзирая на их увещья, велел им убираться вон. Не успел он выйти, как они сошлись снова и вцепились друг другу в глотку.

Маркус вбежал обратно, крича: «Нет, нет, не надо, *не надо*», потрясая иссохшими руками, обмирая, теряя последние силы (от рева в ушах он слышал только, как оглушительно тикают ходики), и сердце его, точно хрупкий кувшин, опрокинулось с полки и ку-вырк по ступеням вниз — и разбилось, распалось на черепки.

Хотя глаза старого еврея, когда он рухнул на пол, остекленели, его убийцы явственно прочитали в них: Ну, что я вам говорил? *Видите?*

Гнев Господень

Синагогальный служка на пенсии Глассер, человек с небольшой бородой и воспаленными глазами, жил с младшей дочерью на последнем этаже узкого кирпичного дома у перекрестка Второй авеню и Шестой улицы. Он не любил выходить из дома, не любил подниматься по лестнице и большую часть дня проводил в квартире. Он чувствовал себя старым, усталым, все его раздражало. Он понимал, что плохо распорядился жизнью, но какую именно сделал ошибку, не знал. Дубовые двери старой синагоги по соседству были наглухо заколочены, окна защиты досками, а седобородый раввин, которого служка не выносил, уехал жить к сыну в Детройт.

Пенсию Глассер получал по социальному страхованию, а дочь была единственным ребенком от недавно умершей второй жены. Двадцатилетняя, беспокойная, с большими грудями, девушка работала помощником счетовода на фабрике линолеума и по телефону называла себя Люси. Она была от природы некрасивой, одинокой, ее мучили разные мысли, а в юности одолевали депрессии. Телефон в квартире звонил редко.

Когда синагогу закрыли, служка дважды в день стал ездить в храм на Кенал-стрит. В годовщину смерти первой жены он читал каддиш заодно по второй жене, еле удерживаясь, чтобы не прочесть заупокойную и по младшей дочери. Ее судьба беспокоила старика. Отчего человеку такое горе с дочками?

Дважды овдовев, Глассер все же скрипел себе помаленьку,

слава Богу. Особых запросов у него не было, посторонней помощи не требовалось. С дочерьми от первого брака — сорокалетней Хелен и тридцатисемилетней Фей — он виделся нечасто. Муж Хелен, непутевый пьянчуга, денег домой приносил мало, и Глассер время от времени подкидывал ей парочку-другую долларов. У Фей была базедова болезнь и пятеро детишек. Навещал Глассер старших дочек примерно раз в полтора месяца. Когда он приходил, они поили его чаем.

К младшей, к Лусилл, он относился нежнее, и иногда казалось, что она его тоже любит. Только уж больно редко проявлялась эта любовь. А все из-за второй жены, ее воспитание — всегда была не в духе, ныла, оплакивала жизнь. Как бы там ни было, дочь почти не думала о своей судьбе — приятелей у нее было мало, разве что кто из коммивояжеров с работы пригласит куда-нибудь. Скорей всего ей так никогда и не выйти замуж. Ни один молодой человек, с длинными волосами или стриженный, не предлагал Лусилл жить с ним. Такое сожителство пришлось бы старому служке не по душе, но он решил при случае не возражать. Даже Господь в своем милосердии закрывает на подобные вещи глаза. И вообще, пути Его неисповедимы. Сейчас не муж, а потом вдруг женится. Разве не знал Глассер евреев на старой Родине, среди них даже ортодоксальных, которые годами спали со своими женами до женитьбы. В жизни всякое бывает... Но порой эти рассуждения пугали старика. Открой дверь чуть пошире, и по спальне загуляет холодный ветер. А где холодный ветер, там, говорят, и дьявол. Кто знает, мучился служка, где начинается зло? Но лучше уж холодный ветер, чем одинокая постель. Лучше уповать на свадьбу в будущем, чем оставить дочь пустым сосудом. Попадаются же люди, правда их немного, у кого судьба сложилась счастливей, чем они ожидали.

Вечером, вернувшись с работы, Лусилл готовила еду, а отец после ужина приводил в порядок кухню, чтобы дочь могла спокойно позаниматься или пойти в колледж. По

пятницам он исправно убирал всю квартиру, протирал окна, мыл полы. Схоронив двух жен, он привык заботиться о себе, домашние хлопоты ему не мешали. Что его тревожило, так это неприязнительность младшей дочери — никакого честолюбия у человека. После школы собиралась стать секретаршей, так нет, пять лет уже прошло, а работает лишь помощником счетовода. Год назад он заявил:

— И не мечтай о прибавке, пока не получишь диплома.

— Никто из моих друзей в колледж не ходит.

— Можно подумать, у тебя их много, друзей.

— Я хочу сказать, все начинали и бросили.

Глассер в конце концов убедил ее поступить на вечернее отделение, где изучали по два предмета в семестр. И хотя пошла она туда без охоты, теперь нет-нет, да и заговорит, что не прочь стать учительницей.

— Придет время, я помру,— сказал как-то служка.—
Профессия тебе не помешает.

Оба понимали, на что он намекает — мол, недолго и в старых девах засидеться. Лусилл сделала вид, будто ей плевать, но позже через дверь он слышал, как она плакала в своей комнате.

Однажды в жаркий летний день они вместе поехали под-земкой в Манхеттен искупаться. Глассер был в летнем кафтане, белой рубашке с расстегнутым воротом и черной фетровой шляпе, которую носил уже двадцать лет. На ногах — черные разбитые ботинки с тупыми носами и простые белые носки. Лицо потное, красное от жары, борода буро-ватая. Лусилл надела расклешенные тесные в бедрах брючки, кружевную блузку голубого цвета с длинными рукавами, через которые просвечивали подмышки, и сабо на деревянной подошве. Черные волосы, перевязанные зеленой лентой, болтались сзади хвостиком. Отцу было неловко за ее большие груди, выпирающие бедра и полоску голого живота под блузкой, однако он помалкивал. Как бы она ни наряжалась, есть у нее недостаток похуже — замкнется и молчит. Разве что колледж поможет. Глаза сероватые, с золотыми

крапинками, и фигура, когда в купальнике, вполне приличная, правда, толстовата. В вагоне с сиденья напротив к ней приглядывался студент ешибота, одетый почти как Глассер, и хотя дочка была явно польщена, лицо ее от смущения одеревенело. Ему было жалко ее и досадно.

В сентябре Лусилл никак не могла собраться на занятия, все откладывала, да так и не пошла. Лето она провела почти в одиночестве. Отец и по-доброму ее уговаривал, и ругал — как об стенку горох. Однажды орал на нее целый час. Лусилл заперлась в туалете и не желала выходить, хоть он клялся, что человеку надо в уборную. На следующий день она вернулась с работы поздно, и ему самому пришлось варить к ужину яйцо. На этом все и кончилось — в колледж она не вернулась. Словно бы в компенсацию, телефон в ее комнате трезвонил теперь чаще, и она опять называла себя Люси. Она купила новые платья, мини-юбки, босоножки, что-то спортивное — все яркое, чего раньше не водилось. Пусть себе, считал служка. По вечерам он смотрел телевизор, и когда она возвращалась со свиданий, уже спал.

— Ну, как прошел вечер? — спрашивал он утром.

— А тебе что? — обрывала Люси.

Дочь не выходила у него из головы ни днем, ни ночью, он все время мысленно упрекал ее за короткие платья: нагнется — так все ягодицы видать. Упрекал за мерзкий костюмчик — она его называла «а вам я дам». И за карандаши для бровей. И за фиолетовые тени для глаз. И за взгляды, которые она метала в него, если он ворчал.

А в один прекрасный день, когда он молился в синагоге на Кенал-стрит, Люси ушла из дому. В кухне он обнаружил записку, написанную зелеными чернилами на линованной бумаге: она хочет жить самостоятельно, но время от времени будет позванивать. На следующее утро он набрал номер ее фабрики, и мужской голос ответил, что Лусилл уволилась. Служка, конечно, расстроился, что она сбежала, однако решил, что это даже к лучшему. Только если уж она с кем живет, то дай Бог, чтобы с добропорядочным евреем.

По ночам его теперь мучили жуткие сны, и он просыпался в злобе на Лусилл. Иногда, правда, будил страх. А как-то приснилось, будто старый ребе, тот, что уехал к сыну в Детройт, грозит ему кулаком.

Возвращаясь однажды вечером от Хелен, он увидел на Четырнадцатой улице проститутку. Это была густо намаленная женщина лет тридцати, и старому служке вдруг без всякой причины стало тошно. Он почувствовал, как на сердце навалилась тяжесть, он хотел что-то крикнуть Богу — не хватило сил. Минут пять он пошатывался, опираясь на трость, и не мог двинуться с места. Проститутка, глянув на его лицо, убежала. Ему бы и вообще не устоять на ногах, если бы какой-то прохожий не прислонил его к телефонной будке и не вызвал полицейскую машину, которая отвезла его домой.

Дома он стал лупить в стенку комнаты, где жила Лусилл и где остались лишь кровать да стул. Он плакал и выл. Он позвонил старшей дочери и закричал в трубку о своих ужасных подозрениях.

— Откуда ты взял? — спросила Хелен.

— Сердцем чувствую. Знаю, и все. Хотя и рад бы не знать.

— В таком случае она просто верна себе. Такая она и есть. Кому-кому, а ей я никогда не доверяла.

Он бросил трубку и набрал номер Фей.

— Ну что тебе сказать? Я это предвидела, — заявила Фей. — А что можно было сделать? Кому про такое расскажешь?

— Что мне предпринять?

— А что ты можешь? Молись Богу.

Служка поспешил в синагогу и стал молиться. Господи, помоги человеку. Но домой он вернулся безутешный, злой, совсем несчастный. Он бил себя кулаком в грудь, ругал, что не воспитал дочь построже. Он злился, что она такая, какая есть, и придумывал ей всевозможные кары. На самом деле ему хотелось умолять, чтобы она вернулась домой,

чтобы стала хорошей дочерью, сняла бы с его сердца камень.

На следующее утро он проснулся затемно и решил ее найти. Но где человеку искать дочь, ставшую шлюхой? Пару дней он еще подождал — может, даст о себе знать, но не дождался и по совету Хелен позвонил в справочную, узнать новый телефон Люси Глассер.

— Не Люси Глассер, а Люси Гласс,— ответили там.

— Дайте мне этот номер.

По его настоятельной просьбе в справочной кроме телефона дали и адрес на Девятой авеню, ближе к центру. Хотя сентябрь выдался теплый, Глассер надел зимнее пальто и прихватил тяжелую трость с резиновым наконечником. Что-то бормоча себе под нос, он доехал подземкой до Пятидесятой Западной и пошел пешком к Девятой авеню, к большому новому дому из желтого кирпича.

Весь день он простоял напротив ее дома под дождем. Поздно вечером Люси вышла из подъезда, и он двинулся следом. Она шла быстро, легко, словно и забот никаких нет. Ему еле удавалось поспевать, но тут она остановила такси. Глассер закричал вдогонку машине — никто не обернулся.

Утром он набрал ее номер, однако она не взяла трубку — словно почувствовала, что звонит отец. Так что вечером он снова поехал к ее дому и стал ждать на противоположной стороне. Он хотел было спросить у привратника номер ее квартиры, да не решился. А как спросишь? «Будьте добры, в какой квартире живет моя дочь Люси Глассер, проститутка?»

Люси вышла в одиннадцать. По тому, как она была одета и намазана, он понял, что не ошибся в своих подозрениях.

Она свернула на Сорок девятую улицу и направилась к Восьмой авеню. Шла она чуть развязно, с ленцой. На тротуарах стояли молчаливые мужчины, толпились крикливо одетые женщины. Было много машин, много света, но длинная улица все равно казалась темной и зловещей. Кое-где в освещенных витринах красовались картинки: парочки в бесстыдных позах. Служка застонал. На Люси был фиалко-

вый свитер с красными блестками, юбка чуть не до пупа и черные чулки в сеточку. Она остановилась на углу, немного в стороне от кучки других девушек и стала заговаривать с прохожими. Некоторые мужчины останавливались, перебрасывались с ней парой слов и шли дальше. Один говорил дольше других — Люси напряженно слушала. Затем она забежала в аптеку, чтобы позвонить, а когда вышла, у дверей ее ждал полумертвый Глассер. Она прошла мимо.

Он в сердцах окликнул ее. Люси удивленно и испуганно обернулась. Крашеное лицо с накладными ресницами и яркими губами сделалось пепельно-серым, в глазах появилась мука.

— Папа, иди домой! — крикнула она в страхе.

— За что ты так со мной? Что я тебе сделал?

— Ничего плохого в моем ремесле нет.

— Грязь, одна грязь!

— Как поглядеть. Я знакомлюсь с людьми, даже с евреями.

— Чтобы им не видать счастья, этим евреям.

— У тебя своя жизнь, не мешай и мне жить, как хочу.

— Господь тебя проклянет. Тело твое сгниет заживо.

— Ты-то ведь не Господь! — с неожиданной яростью выпалила Люси.

— Подстилка! — заорал старик, махая тростью.

К ним подошел полицейский. Люси убежала. На вопросы служителя порядка Глассер ничего вразумительного сказать не мог.

Люси исчезла. Он снова поехал к дому из желтого кирпича, но она там уже не жила. Привратник сказал, что нового адреса мисс Гласс не оставила. Служка приходил туда еще, но получал тот же ответ. Он позвонил ей, и магнитофон на телефонной станции пробубнил, что номер отключен.

Глассер стал искать ее на улицах, хотя Фей и Хелен удерживали его. Он убеждал их, что не может по-другому. «Почему?» — спрашивали они. В ответ он начинал навзрыд плакать. Он бродил среди проституток по Восьмой авеню, по

Девятой, по Бродвею. Иногда заглядывал в какую-нибудь замызганную гостиницу и называл ее имя. Никто про Люси не слышал.

Поздним вечером в октябре он увидел ее на Третьей авеню около Двадцать третьей улицы. Хотя было холодно, она стояла без пальто, у обочины в центре квартала. На ней был толстый белый свитер и кожаная мини-юбка. Сзади на юбке болталось небольшое круглое зеркальце с металлической ручкой и хлопало ее по толстому заду, когда она двигалась.

Глассер перешел авеню и молча дожидался, пока она переборет смятение.

— Лусилл,— стал умолять он.— Вернись домой к своему папе. Мы ничего никому не скажем. Твоя комната тебя ждет.

Люси злобно рассмеялась. Она растолстела. Когда он попытался пойти за ней, в лицо ему полетели грязные ругательства. Он перешел на противоположную сторону и замер у неосвещенного подъезда. Люси бродила вдоль квартала, заговаривая с мужчинами. Иногда кто-нибудь из них останавливался. Потом они вместе шли к темной захудалой гостинице в соседнем переулке, и через полчаса она возвращалась на Третью авеню и вставала где-нибудь около Двадцать третьей, Двадцать второй или Двадцать шестой улицы.

Служка все ходит за ней и ждет на другой стороне под голыми облетевшими деревьями. Она знает, что отец здесь. Он ждет. Он считает ее клиентов. Он карает ее своим присутствием. Он призывает гнев Господень и на дочь-проститутку, и на безрассудного отца.

Шляпа Рембрандта

Голову скульптора Рубина венчал легкомысленный белый полотняный убор — не то шляпа, не то мягкий берет без козырька; Рубин брел по лестнице, поглощенный невыразительными — а может, невыразимыми — мыслями; он поднимался из своей студии, из подвала Нью-йоркской художественной школы, в мастерскую на втором этаже, где преподавал. Искусствовед Аркин, легковозбудимый, склонный к гипертонии тридцатичетырехлетний холостяк, лет на двенадцать моложе Рубина, заметил странный головной убор скульптора через открытую дверь своего кабинета и проводил его взглядом сквозь толпу студентов и педагогов. Белая шляпа выделяла, отъединяла скульптора ото всех. Она словно высвечивала его унылую невыразительность, накопленную за долгую жизнь. Аркину вдруг, не очень-то кстати, представилась некая белая тощая животина — олениха, олень, козел? — что упорно и обреченно тарашится из густой чащи. Взгляды Аркина и Рубина на миг встретились. И скульптор поспешил на занятия в мастерскую.

Аркин относился к Рубину с симпатией, но друзьями они не были. Это — он знал — не его вина: очень уж скульптор замкнут. Во время разговора Рубин обычно лишь слушал, глядя в сторону, точно скрывал, о чем думает на самом деле. Его внимание к собеседнику было обманчивым, он явно думал об ином — наверняка о своей унылой жизни, если унылый взгляд выцветших, тускло-зеленых, почти серых глаз есть непреременный признак унылой жизни. Порой он высказывался: чаще всего произносил избитые истины о смысле

жизни и искусства; о себе он говорил совсем мало, а о работе своей — ни слова.

— Рубин, вы работаете? — отважился как-то Аркин.

— Разумеется.

— А над чем, позвольте узнать?

— Так, над одной вещью.

И Аркин отступился.

Однажды, услышав в факультетском кафе рассуждения искусствоведа о творчестве Джэксона Поллока *, скульптор вспылил:

— Не все в искусстве разглядишь глазами!

— Мне приходится своим глазам доверять, — вежливо отозвался Аркин.

— Вы сами-то когда-нибудь писали?

— В живописи вся моя жизнь, — ответил Аркин.

Рубин умолк, преисполненный чувством превосходства. В тот вечер, после занятий, они вежливо приподняли на прощанье шляпы и криво улыбнулись друг другу.

В последние годы, когда Рубина бросила жена, а у студентов вошли в моду экстравагантные одеяния и головные уборы, Рубин тоже стал носить чудные шляпы; эта, белая, была новейшим приобретением; похожую, только пожестче, надевал в Конгресс Джавахарлал Неру; нечто среднее между головным убором кантора и распухшей ермолкой или между шапочкой судьи с полотен Руо и шапочкой врача с гравюр Домье. Рубин носил ее точно корону. Возможно, она согревала его голову под холодными сводами громадной студии.

Позже, когда скульптор в белой шляпе шел с занятий обратно в студию, Аркин оторвался от чтения статьи о Джакометти и вышел в забитый студентами коридор. В тот день он беспричинно восторгался всем вокруг и сказал Рубину, что восхищен его шляпой.

— Хотите знать, отчего она мне так понравилась? Она похожа на шляпу Рембрандта на одном из поздних авто-

* Джэксон Поллок (1912—1956) — американский живописец. В 40-х годах — глава «абстрактного экспрессионизма».

портретов, наиболее глубоких. Пусть эта шляпа принесет вам удачу.

В первый момент Рубин, казалось, силился сказать что-то необычайное, но передумал и, пронзив Аркина пристальным взглядом, молча зашел вниз по лестнице. На том разговор и кончился; впрочем, искусствовед продолжал радоваться удачно подмеченному сходству.

Аркин перешел в художественную школу семь лет назад с должности помощника хранителя сент-луисского музея; Рубин, помнилось ему, в те времена работал по дереву; теперь же он создавал скульптурные композиции из спаянных между собой треугольных железок. А семь лет назад он обтесывал плавник — траченные водой деревянныешки, — сперва работал резакон, потом перешел на небольшой, специально подточенный нож мясника, плавник в его руках обретал удивительные, причудливые формы. Доктор Левис, директор художественной школы, уговорил Рубина выставить свои скульптуры из плавника в галерее в центре города. И в день открытия выставки Аркин, работавший тогда в школе первый семестр, специально доехал на метро до центра. Автор — большой чудак, рассуждал он, может, и его произведения столь же заняты? Рубин отказался от вернисажа, и залы были почти пусты. Сам скульптор, точно боясь своих вытесанных из дерева творений, прошел в запасник в дальнем конце галереи и разглядывал там картины. Аркин не знал, надо ли ему здороваться с Рубином, но все же нашел скульптора: тот сидел на упаковочном ящике и листал фолиант с чужими офортами; Аркин молча закрыл дверь и удалился. Со временем в прессе появились два отзыва о выставке — один плохой, другой вполне снисходительный, но скульптор, казалось, глубоко страдал оттого, что работы его на всеобщем обозрении; с тех пор он не выставлялся. И в распродажах не участвовал. Недавно Аркин заикнулся, что неплохо было бы показать публике железные треугольники, но Рубин страшно разволновался и сказал: «Не трудитесь, пустая затея».

На следующий день после разговора о белой шляпе она исчезла — безвозвратно; какое-то время Рубин носил лишь шапку своих густых рыжеватых волос. Спустя еще неделю или две Аркину почудилось, что скульптор его избегает, и Аркин даже сам себе не поверил. Однако Рубин явно перестал пользоваться ближней лестницей — справа от его кабинета, — он ходил теперь на занятия по дальней лестнице; впрочем, его мастерская и в самом деле была угловой в дальнем крыле здания. Так или иначе, он не проходил больше мимо распахнутой в аркинский кабинет двери. Уверившись в этом окончательно, Аркин стал тревожиться, а порой и злиться.

Я его что — оскорбил? — спрашивал себя Аркин. Если да, то чем, позвольте узнать? Всего-то вспомнил шляпу с автопортрета Рембрандта — похожа, мол, на его шапку. Разве это оскорбление?

Потом он подумал: оскорбить можно лишь умышленно. А я ему только добра желаю. Но он такой робкий и, верно, застенчивый моих неумеренных восторгов при студентах; тогда моей вины тут нет. А если не так, то не знаю, на что и грешить, кроме рубинского норова. Но, может, ему нездоровилось или нашло вдруг мишигас * — как бы мне невзначай человека не обидеть, в наше время это легче легкого. Лучше уж я пережду.

Но недели превращались в месяцы, а Рубин по-прежнему сторонился искусствоведа; они встречались только на факультетских собраниях, если Рубин там появлялся; изредка Аркин видел его мельком на дальней, левой лестнице или в кабинете секретаря факультета изящных искусств: Рубин изучал список требований на принадлежности для лепки. Может, у него депрессия? Нет, что-то не верится. Однажды они повстречались в туалете, и Рубин прошел мимо, не сказав ни слова. Временами Аркин испытывал ненависть к скульптору. Не любил он людей, невзлюбивших его самого. Я к этому сукину сыну с открытой душой, без злого умысла —

* сумасшествие (*идиш*).

а он оскорбляется! Что ж, око за око. Посмотрим, кто кого.

Но, поостыв, Аркин продолжал беспокоиться: что же стряслось? Ведь он, Аркин, всегда прекрасно ладил с людьми. Впрочем, по обыкновению, стоило Аркину хоть на миг заподозрить, что виноват он сам, он казнил себя неустанно, так как был по натуре человеком мнительным. И он копался в своей памяти. Скульптор ему всегда нравился, хотя Рубин в ответ на приязнь протягивал не руку, а кончик пальца. Аркин же был неизменно приветлив, обходителен, интересовался работой скульптора, старался не задеть его достоинство, а скульптор явно тяготился собою, хотя не говорил об этом вслух. Пожалуй, не стоило Аркину заводить речь — даже заикаться — о возможности новой рубинской выставки: Рубин повел себя так, словно посягают на его жизнь.

Тогда-то Аркин и вспомнил, что так и не поделился с Рубином своими впечатлениями о плавниковой выставке, даже не заговорил о ней, хотя расписался в книге посетителей. Аркину выставка не понравилась; однако он, помнится, хотел найти Рубина и похвалить пару интересных работ. Но скульптор оказался в запаснике и был поглощен чужими офортами и собственными стыдными мыслями так глубоко, что не желал или не мог даже обернуться к вошедшему; и Аркин сказал себе: может, оно и к лучшему. И выбрался из галереи. И после плавниковую выставку не упоминал. Хотел быть добрым, а оказался жестоким?

Но непохоже, что Рубин избегает меня так упорно только из-за этого. Будь он огорчен или раздражен, что я никак не отзываюсь о его выставке, он тогда бы и перестал со мной говорить, чего тянуть-то? Но ведь не перестал. И держался — по собственным понятиям — вполне дружелюбно, а ведь он не притворщик. И когда я потом предложил ему устроить новую выставку, очевидно — нежеланную, он испытал муку мученическую, но на меня совсем не рассердился; зато после истории с белой шляпой стал меня избегать — чем уж я ему досадил, не знаю. Может, не шляпа всему виной. Может, просто накопились по мелочи обиды на меня? Да, скорее

всего так и есть. Но все же замечание о шляпе по какой-то таинственной причине задело Рубина больше всего; ведь прежде ничто не омрачало их отношения, и отношения — худо-бедно — были вполне дружескими. И тут Аркин становился в тупик, он поневоле признавался себе, что не понимает, отчего Рубин повел себя так странно.

Снова и снова искусствовед подумывал пойти к скульптору в студию и извиниться: вдруг он и вправду сказал что-то неуместное, так не со зла же! Он спросит Рубина, что его гложет; и если он, Аркин, нечаянно сказал или сотворил что-то, чего и сам не ведает, он извинится и все разъяснит. К обоюдному удовольствию.

Однажды, ранней весной, он решил зайти к Рубину днем, после семинара; но один студент — бородатый гравер — прознал, что Аркину стукнуло в тот день тридцать пять, и подарил ему белую ковбойскую шляпу чудовищных размеров; отец студента, странствующий торговец, привез ее из техасского городка Уэйко.

— Носите на здоровье, господин Аркин, — сказал студент. — Теперь вы такое же чучело, как все мы.

Когда Аркин, в громоздкой широкополой шляпе, поднимался вместе со студентами к себе в кабинет, им повстречался Рубин — его так и передернуло при виде шляпы.

Аркин расстроился; впрочем, произвольная гримаса скульптора подтвердила, что он оскорблен именно аркинским замечанием о его шляпе. Бородатый студент ушел, Аркин положил шляпу на письменный стол — так ему, по крайней мере, запомнилось, — но когда он пришел из туалета, шляпы на столе не было. Искусствовед обыскал весь кабинет, даже вернулся в класс, где проводил семинар, — проверить, не очутилась ли шляпа там ненароком: может, кто стащил шутки ради? Но там ее тоже не было. Аркин бросился было вниз, к Рубину в студию — поглядеть в глаза скульптору, но ему стало невыносимо страшно. А вдруг не брал Рубин шляпы?

Теперь уже оба избегали друг друга. И одно время встречались редко, но вдруг — Аркин усмотрел в этом иронию

судьбы — стали встречаться повсюду, даже на улицах, особенно у выставочных залов на улице Мэдисон, порой — на Пятьдесят седьмой, или в Сохо, или на порогах кинотеатров. И поспешно расходились по разным сторонам улицы, чтобы не столкнуться нос к носу. В художественной школе они отказывались состоять в одних и тех же комиссиях. Если один, войдя в туалет, видел другого, он выходил и пережидал поодаль, пока первый уйдет. В обед каждый спешил пораньше прийти в кафе, но, застав другого в очереди или уже за столиком — в одиночестве или с сослуживцами, — вошедший позже неизменно уходил обедать в другое место.

Как-то, столкнувшись у входа в кафе, оба поспешно вышли. Но чаще Аркин проигрывал Рубину, ведь кафе было в подвале, возле рубинской студии. И Аркин стал питаться бутербродами, не выходя из кабинета. Добро бы только Рубин избегал его, но они оба сторонились теперь друг друга, и Аркин чувствовал, как это тягостно для обоих. Оба были бесконечно, безмерно поглощены друг другом — до одури. Стоило им внезапно столкнуться — на лестнице, зайти за угол или открыв дверь, — они тут же проверяли, чем увенчаны их головы; затем поспешно расходились в разные стороны. Аркин, если не был простужен, шапку обычно не носил; Рубин пристрастился к фуражке инженера-путейца. Искусствовед возненавидел Рубина в ответ на его ненависть, в глазах Рубина он читал нескрываемое отвращение.

— Твоя работа, — бормотал Аркин. — Ты меня довел. Сам виноват.

Потом наступила взаимная холодность. Они заledenели, оставив друг друга не то вне своей жизни, не то глубоко внутри.

Однажды утром, опаздывая на занятия, оба летели сломя голову и столкнулись прямо под сводом школьного портала. И принялись друг на друга кричать. Лицо Рубина пылало, он кричал Аркину «убийца», а искусствовед кричал «шляпокрад». Наконец Рубин улыбнулся презрительно, Аркин — сожалеюще, и они разошлись.

Аркину стало дурно, и он отменил занятия. К горлу подкапывала тошнота, затылок ломило, пришлось пойти домой и лечь в постель. Всю неделю он спал отвратительно, вздрагивал во сне, почти ничего не ел. «До чего довел меня этот ублюдок! До чего я сам себя довел? Меня втравили в это против моей воли», — думал Аркин. Все же судить о картинах ему куда легче, чем о людях. Это подметила в Аркине одна женщина много лет назад, и он негодуяще отверг подобное обвинение; теперь — согласился. Он не находил ответов на свои вопросы и отчаянно боролся с угрызениями совести. Его снова пронзило, что необходимо извиниться, хотя бы потому, что Рубин этого сделать не может, а он, Аркин, может. Но вдруг ему снова станет дурно?

В день своего тридцатилетия Аркин вспомнил об исчезнувшей ковбойской шляпе. Секретарь факультета изящных искусств обмолвилась, что Рубин не вышел на работу: он оплакивает умершую мать. И Аркина потянуло в пустую студию скульптора, в дебри каменных и железных фигур — он решил поискать свою шляпу. Допотопный шлем сварщика обнаружил, но ничего похожего на ковбойскую шляпу не нашел. Аркин провел много часов в огромной застекленной студии, внимательно разглядывая творения скульптора: спаянные железные треугольники, живописно расставленные меж обломков каменных статуй; железные цветы тянулись вверх, к свету, среди декоративных садовых фигурок, которые скульптор коллекционировал долгие годы. А занимался он, в основном, цветами: на длинных стебельках с крошечными венчиками, на коротких стебельках с махровыми соцветиями. Некоторые цветы были выполнены в мозаике и напоминали женские украшения: белые камешки и осколки разноцветного стекла в обрамлении из железных треугольников. От абстрактных форм из плавника Рубин пришел к конкретным формам — цветам; попадались и незавершенные бюсты сослуживцев, одна из скульптур смутно походила на самого Рубина в ковбойской шляпе. Было здесь чудесное карликовое деревце его работы. В дальнем углу

стояли баллоны с газом и паяльная лампа, а также сварочный аппарат; вокруг — раскрытые тяжеленные ящики с железными треугольниками различной величины и толщины. Искусствовед рассматривал каждую скульптуру и начинал понимать, отчего Рубин так страшится новой выставки. В этих железных дебрях хорошо было лишь карликовое деревце. Может, Рубин боится признаться, что творец в нем угас, боится саморазоблачения?

Несколько дней спустя Аркин готовился читать лекцию об автопортретах Рембрандта и, просматривая слайды, понял, что портрет, висевший, как ему помнилось, в амстердамском Королевском музее, на самом деле висит в лондонском Кенвуд Хаус. Шляпы художника и вправду были белыми, но ни на одном портрете не напоминали они шляпу Рубина. Аркин поразился. На амстердамском портрете Рембрандт был в белом тюрбане, обмотанном вокруг головы, на лондонском — в берете, какой носят художники, слегка взбитом вверх и набок. А у Рубина головной убор скорее походил на поварской колпак с картины Сэма * «За обедом», чем на любую шляпу Рембрандта с больших полотен или других автопортретов, которые рассматривал Аркин на слайдах. Художник глядел со всех картин с горькой откровенностью. А глаза его в этих рукотворных зеркалах отражались поразному: правый хранил бесстрастную и пристальную честность, левый же являл начало всех начал и глядел из неопишуемой, бездонной глубины. Лицо на всех портретах было мудрым и печальным. А если не задавался Рембрандт целью написать эту печаль, значит — просто жизнь без печали немислима.

В темноте кабинета Аркин тщательно изучил картины, спроецированные на небольшой экран, и понял, что явно ошибся, сравнив шляпу Рубина с рембрандтовской. Но сам-то Рубин бесспорно знаком с этими автопортретами или даже специально просмотрел их. Так что же задело его столь глубоко?

* Голландский живописец пострембрандтовской эпохи (1699—1769).

Ну, взглянул я на его белую шапку, вспомнил шляпу Рембрандта, сказал ему об этом — мог, кстати, и ошибиться, — так что ж такого? Я что в него — камень кинул? Чего он взъелся? Аркину просто необходимо было докопаться до истины. Значит, так. Допустим, я — Рубин, а он — Аркин. И у меня на голове шляпа. Вот он я — стареющий скульптор, за всю жизнь одна весьма сомнительная выставка, да и ту никто не видел. А рядом этот искусствовед Аркин, вечно что-то критикует, судит-рядит, всюду сует свой длинный нос, и сам-то неуклюжий, настроен дружески, но какой из него друг? Он и дружить-то не умеет. Кроме любви к искусству, нас не роднит ничто. И вот этот Аркин говорит, что на голове у меня шляпа Рембрандта, и желает успеха в работе; конечно, он не ведает, что творит, — а кто из нас ведает? Пускай он и в самом деле добра желает, но мне этого не вынести. Меня это попросту бесит. Он поминает Рембрандта, а собственные мои работы — дрянь, и на душе — тоска, и все это тяжким бременем давит мое сердце, и я поневоле то и дело спрашиваю себя: зачем дальше влечить жизнь, если скульптором настоящим мне не стать до конца моих дней? Меня эти мысли сразу обуревают, чуть завиджу Аркина — неважно, говорит ли он, молчит ли, как на плавниковой выставке, — но упаси бог еще чего-нибудь скажет. И решаю я больше с ним не встречаться — никогда.

Постояв перед зеркалом в туалете, Аркин бесцельно обошел все этажи художественной школы, а затем побрел вниз, в студию Рубина. Постучал в дверь. Никто не ответил. Он нажал ручку и, заглянув в студию, окликнул Рубина.

За окнами нависала ночь. Студия освещалась множеством пыльных лампочек, но самого Рубина не было. Был только лес скульптур. Аркин прошелся среди железных цветов и обломков каменных статуй: хотел проверить — не ошибся ли. И почувствовал, что прав.

Он рассматривал карликовое деревце, когда дверь открылась и появился ошеломленный Рубин в фуражке инженера-путейца.

— Прекрасная работа,— выдавил Аркин, кивнув на деревце.— Лучшая здесь, на мой взгляд.

Рубин, красный от мгновенно вспыхнувшей злобы, уставился на Аркина; на его впалых щеках в последнее время отросли рыжеватые бакенбарды, а глаза в этот миг были не сероватыми, а отчетливо зелеными. Он возбужденно зашевелил губами, но ничего не сказал.

— Рубин, простите меня, я пришел сказать, что перепутал шляпы. Я тогда ошибся.

— Ошиблись, черт подери.

— Простите, нескладно получилось. И простите, что все зашло так далеко.

— Далеко, черт подери...

И Рубин заплакал, хотя пытался сдержаться изо всех сил. Плакал молча, его плечи тряслись, а слезы сочились меж грубых узловатых пальцев, закрывавших лицо.

Аркин быстро ушел.

Они перестали избегать друг друга; встречаясь, хоть и нечасто, мирно беседовали. Однажды Аркин, войдя в туалет, застал Рубина в той самой белой шляпе, которая якобы походила на шляпу Рембрандта: Рубин внимательно разглядывал себя в зеркале. Шляпа сидела на нем как венец крушения и надежды.

Ангел Левин

На портного Манишевица на пятьдесят первом году жизни посыпались одна за другой всевозможные невзгоды и беды. Человек изрядного достатка, он за ночь потерял все, что имел: в его мастерской начался пожар, огонь перекинулся на железный контейнер с моющей жидкостью, и мастерская сгорела дотла. Хотя Манишевиц был застрахован, но при пожаре пострадали два клиента, они потребовали возмещения убытков по суду, и их иски поглотили все его сбережения до последнего гроша. Чуть не одновременно его сына — и такого способного мальчика! — убили на войне, а дочь — и хоть бы слово сказала — вышла замуж за какого-то прощелыгу и будто сквозь землю провалилась, только ее и видели. Вот тут Манишевица стали мучить боли в спине, он даже гладить — а другой работы он не нашел — и то мог часа два в день, не больше, потому что долго стоять на ногах был не в силах: боль в спине становилась все нестерпимее. Фанни, жена и мать каких мало, подрабатывала на дому стиркой, шитьем, но вскоре начала чахнуть на глазах. Стала задыхаться, а потом захворала всерьез и слегла. Доктор — он раньше шил у Манишевица и теперь из жалости лечил их — не сразу поставил диагноз, но потом все-таки определил, что у нее склероз артерий в прогрессирующей стадии. Отвел Манишевица в сторону, предписал Фанни полный покой и, понизив голос, дал понять, что надежды почти нет.

Манишевиц сносил все испытания едва ли не стоически; у него, похоже, не укладывалось в голове, что они выпали

на его долю, а не постигли, скажем, какого-то знакомого или дальнего родственника; уже одно обилие несчастий было несбъяснимо. И к тому же нелепо и несправедливо, а так как он всегда был человеком набожным, отчасти даже кощунственно. Вера в это поддерживала Манишевица во всех его невзгодах. Когда бремя страданий становилось непереносимым, он садился в кресло, закрывал запавшие глаза и молился:

— Боженька, любимый, ну что я такого сделал, за что Ты меня так наказываешь?

Тут же понимал тщетность своих вопросов, оставлял пени и смиренно молил Бога помочь ему:

— Сделай так, чтобы Фанни опять была здоровая, а я сам не мучился болью на каждом шагу. Только сегодня, завтра уже будет поздно. Да что Тебе говорить — или Ты не знаешь?

И Манишевиц плакал.

* * *

В убогой квартирке Манишевица, куда он перебрался после разорившего его пожара, из мебели только и было что пара-тройка жидких стульев, стол и кровать; находилась квартира в одном из самых бедных кварталов города. Состояла она из трех комнат: тесной, кое-как обклеенной обоями гостиной, кухни с деревянным ледником — горе, а не кухня — и спальни побольше — там на продавленной подержанной кровати лежала, лоя ртом воздух, Фанни. В спальне было теплее, чем в остальной квартире, и Манишевиц, излив Богу душу, при свете двух тусклых лампочек на потолке располагался здесь с еврейской газетой. Не сказать, чтобы читал — мысли его витали далеко; но как бы там ни было, его глаза отдыхали на печатных строках, и, когда он давал себе труд вникнуть — одно слово тут, другое там, помогало ему, пусть ненадолго, забыть о своих невзгодах. И вскоре он не без удивления обнаружил, что живо проглядывает новости в поисках интересных для себя сообщений. Спроси

его, что именно он ожидает прочесть, он бы не ответил, но чуть погодя осознал, к своему глубокому удивлению, что надеется найти что-нибудь про себя. Манишевиц отложил газету, поднял глаза: у него создалось впечатление, что в квартиру вошли, хотя дверь вроде бы не стукнула. Он посмотрел вокруг — в комнате было удивительно тихо, Фанни, раз в кои-то веки, не металась во сне. Он забеспокоился, долго смотрел на нее, пока не убедился, что она дышит; потом — мысль о необъявившемся госте не оставляла его — заковывал в гостиную, где его ждало потрясение — и какое: за столом сидел негр и читал газету, сложенную вдвое, чтобы было удобнее держать в одной руке.

— Что вам нужно? — спросил оробевший Манишевиц.

Негр отложил газету, кротко поднял глаза на Манишевица:

— Здравствуйте!

Держался он неуверенно, словно попал к Манишевицу по ошибке. Крупного сложения, костистый, головастый, в твердом котелке — при виде Манишевица он и не подумал его снять. Глаза негра глядели печально, зато губы под щеточкой усов пытались улыбнуться; больше ничего располагающего в нем не обнаружилось. Манишевиц заметил, что обшлага у него совершенно обтерханы, темный костюм сидит мешковато. Ножищи несообразно громадные. Оправившись от испуга, Манишевиц смекнул, что забыл запереть дверь и к нему зашел инспектор патронажной службы министерства социального обеспечения, ведь он недавно подал прошение о пособии, а кое-кто из них приходил иногда по вечерам. И только тогда, стараясь не стушеваться — уж очень неопределенно негр улыбался ему, — опустил на стул напротив. Бывший портной, хоть и сидел весь зажавшись, терпеливо ожидал, когда инспектор вынет блокнот с карандашом и начнет опрос, но вскоре понял, что он пришел не за тем.

— Кто вы такой? — собравшись с духом, спросил наконец Манишевиц.

— Если мне позволено, насколько это нам вообще дано, назвать себя, я ношу имя Александр Левин.

Манишевиц, как ни был расстроен, не удержался от улыбки.

— Вы говорите — Левин? — вежливо осведомился он. Негр кивнул:

— Совершенно точно.

Манишевиц решил подыграть ему.

— И может быть, вы еще и еврей? — сказал он.

— Всю мою жизнь я был евреем и другого удела не желал.

Портной усомнился. Он слышал о чернокожих евреях, но никогда ни одного не встречал. И оттого ему было не по себе.

По зрелом размышлении его поразило, что Левин употребил прошедшее время, и он недоверчиво спросил:

— И что же, теперь вы уже больше не еврей?

Тут Левин снял шляпу, обнажив черные волосы, разделенные очень белым пробором, но сразу же надел ее опять. И ответил:

— Недавно меня перевоплотили в ангела. В качестве такового я предлагаю вам свою скромную помощь, если предлагать ее в моей компетенции и моих силах, из самых лучших побуждений.— Он виновато опустил глаза.— Тут не избежать дополнительных объяснений: я тот, кем мне даровано быть, но в настоящее время полное воплощение — еще дело будущего.

— Ну и из каких же вы ангелов? — серьезно спросил Манишевиц.

— Я bona fide ангел Божий в пределах предоставленных мне полномочий,— ответил Левин,— просьба не путать с членами других сект, орденов и организаций, развернувших свою деятельность здесь, на земле, под этим же названием.

Манишевиц был в полном смятении. Чего-то вроде он ожидал, но никак не этого! И если Левин таки ангел, Он что, смеется над верным слугой, который с детства, можно сказать, не выходил из синагоги и всегда покорен был словам Его?

Желая испытать Левина, он спросил:

— И где же тогда ваши крылья?

Негр покраснел насколько мог. Лицо у него переменялось — вот почему Манишевиц догадался.

— При неких обстоятельствах мы лишаемся привилегий и прерогатив по возвращении на землю, какие бы цели мы ни преследовали и кому бы ни пытались оказать помощь.

— Ну и как же вы сюда попали? — сразил его вопросом Манишевиц.

— Меня перенесли.

Но портного продолжали мучить сомнения.

— Раз вы еврей, скажите благословение на хлеб,— попросил он.

Левин трубно прочел молитву на иврите.

И хотя знакомые слова тронули Манишевица, ему все не верилось, что перед ним ангел.

— Раз вы ангел,— не без раздражения сказал он,— дайте мне доказательства.

Левин облизнул губы.

— Откровенно говоря, творить истинные чудеса, да и неистинные тоже, не в моих полномочиях в силу того, что в настоящий момент я прохожу испытательный срок. Как долго меня в нем продержат и даже в чем он будет содержаться, не стану скрывать, зависит от исхода.

Манишевиц ломал голову над тем, как бы вынудить Левина безоговорочно открыть ему, кто он на самом деле, но тут негр снова заговорил:

— Мне дали понять, что вашей жене и вам самому требуется помощь для поправления здоровья?

Портного преследовало ощущение, что его разыгрывают. Скажите, ну разве такой из себя должен быть еврейский ангел? — задавался он вопросом. Такому я верить не могу.

И напоследок спросил:

— Ну, пускай себе Господь решил послать ко мне ангела, так почему Он послал черного? Почему не белого, у Него что, мало белых?

— Подошла моя очередь,— объяснил Левин.

Но Манишевиц не отступался:

— Что вы мне говорите, вы самозванец.

Левин не спеша встал со стула, глаза у него были огорченные, тревожные.

— Мистер Манишевиц,— сказал он мертвенным голосом,— если вы соблаговолите пожелать, чтоб я оказал вам помощь в ближайшем будущем, а возможно и раньше, вы сможете найти меня,— он кинул взгляд на свои ногти,— в Гарлеме.

И был таков.

* * *

Назавтра спину чуть отпустило, и Манишевицу удалось часа четыре простоять у гладильной доски. Послезавтра он продержался шесть часов; на третий день — опять четыре. Фанни немного посидела в кровати, попросила халвы — пососать. Но на четвертый день спину опять ломило, тянуло и Фанни снова лежала в лежку и хватала посиневшими губами воздух.

Разочарованию Манишевица не было предела — боль, страдания мучили его с прежней силой. Он рассчитывал на передышку подольше, хотя бы такую, чтобы немножко забыть о себе и своих невзгодах. День за днем, час за часом, минута за минутой страдания не оставляли его, он не помнил ничего, кроме страданий, и вопрошал, за что же ему выпала такая доля, ополчался на нее, ну и, хоть не переставал любить Бога, и на Него. За что так сурово наказываешь, Gottenu *? Если Твой слуга провинился, согрешил против Тебя (от себя ведь не уйдешь) и Ты хочешь проучить его, мало ли в чем его провинность — в слабости, а может, и в гордыне, которым он поддался в благополучные годы, тогда о чем речь, любого на выбор несчастья, одного на выбор из несчастий за глаза хватило бы, чтобы его наказать. Но потерять все сразу: и обоих детей, и средства к существованию, и Фаннино, и свое здоровье — не слишком ли много Ты навалил на

* Боженька (*идиш*).

одного человека, он ведь и так еле жив. Кто, в конце концов, такой Манишевиц, за что на его долю отпущено столько мучений? Портной. Никакой не талант. И страдания ему, можно сказать, не пойдут впрок. Они никуда и ни к чему не приведут, кроме новых страданий. Его мучения не помогут ему ни заработать на хлеб, ни замазать трещины в стене, ни поднять посреди ночи на воздух кухонный стул; лишь наваливаются на него в бессонницу, да так тяжело, что он, может, не раз криком кричал, но сам себя не слышал: у него столько несчастий, что сквозь них и крику не пробиться.

В таком состоянии он не склонен был думать о мистере Александре Левине, но когда боль на время отступала, чуть утихала, он порой задавался вопросом: не дал ли он маху, отклонив предложение мистера Левина? В черного еврея, да еще в придачу и ангела, поверить трудно, а что, если его все-таки послали поддержать Манишевица, а Манишевиц был слеп и по слепоте своей его не узрел? Одна мысль об этом была Манишевицу как нож острый.

Вот почему портной, истерзанный бесконечными спорами с самим собой и неотступными сомнениями, решил отправиться на поиски самозваного ангела в Гарлем. Ему пришлось нелегко, потому что как туда доехать, он не удосужился узнать, а поездок не переносил. Он добрался на метро до Сто шестнадцатой улицы. Оттуда начались его блуждания по окутанному тьмой миру. Миру этому не было конца, и освещение в нем ничего не освещало. Повсюду затаились тени, порой они колыхались. Манишевиц, опираясь на палку, ковылял все дальше и дальше мимо жилых домов, где не горел свет, и, не зная, как приступить к поискам, бесцельно заглядывал в окна магазинов. В магазинах толпились люди — все до одного черные. Манишевиц в жизни не видел ничего подобного. Когда он совсем вымотался, пал духом и понял, что дальше идти не может, он остановился перед портняжной мастерской. Вошел в мастерскую, и от знакомой обстановки у него защемило сердце. Портной, старый отошальный негр с копной курчавых седых волос, сидел по-

турецки на столе, латал брюки от фрачной пары, расположенные сзади бритвой.

— Извиняюсь,— сказал Манишевиц, любуясь, как ловко летает прижатая наперстком игла в руке портного,— вдруг вы знаете такого Александра Левина?

Портной, а Манишевицу показалось, что он встретил его неприязненно, почесал в затылке.

— Не-а, сроду не слышал про такого.

— Александра Левина,— повторил Манишевиц.

Негр покачал головой:

— Не-а, не слышал.

Уже на выходе Манишевиц сказал, о чем запомнил:

— Он вроде бы ангел.

— А, этот,— закудахтал портной.— В бардаке ошивается, во-он где,— показал костлявым пальцем где и снова занялся штанами.

Манишевиц, не дожидаясь, пока погаснет красный свет, пересек улицу и лишь чудом не угодил под машину. Через квартал, в шестом магазине от угла, помещалось кабаре, над ним сверкала-переливалась надпись «У Беллы». Войти вовнутрь Манишевиц постыдился — стал разглядывать зал сквозь освещенную огнями витрину, и когда танец закончился и пары пошли к своим местам, за столиком сбоку в самом конце зала обнаружил Левина.

Левин сидел один, зажав в углу рта сигарету, в руках у него была замызганная колода карт — он раскладывал пасьянс,— и Манишевицу стало его жалко: Левин очень опустил. На его продавленном котелке сбоку красовалось грязное пятно. Мешковатый костюм еще больше обносился — спал он, что ли, в нем. Его башмаки, обшлага брюк были зашлепаны грязью, лицо обросло непролазной щетиной шоколадного цвета. Манишевиц, как ни велико было его разочарование, уже собрался войти, но тут грудастая негритянка в сильно вырезанном малиновом платье подошла к столу Левина и — ну сколько можно смеяться и сколько можно иметь зубов, и все ведь белые,— как оторвет шимми. Левин поглядел Ма-

нишевицу прямо в глаза, вид у него был затравленный, но портной не мог ни пошевелиться, ни хотя бы подать знак — он оцепенел. А Белла все виляла бедрами, и Левин встал, глаза у него загорелись. Белла тесно обхватила Левина, его руки сомкнулись на ее неумном заду, и они прошлись по залу в танго, а буйные посетители громко хлопали в ладоши. Танцуя, Белла прямо-таки отрывала Левина от пола — его башмачищи болтались в воздухе. Они пронеслись мимо витрины, за которой стоял белый как мел Манишевиц. Левин лукаво подмигнул портному, и тот отправился восвояси.

* * *

Фанни была на пороге смерти. Запавшим ртом она шамкала про детство, тяготы супружества, смерть детей, а все равно не хотела умирать — плакала. Манишевиц не слушал ее, но у кого нет ушей и тот бы услышал. Та еще радость. К ним на верхотуру, пыхтя, забрался резкий, но добродушный небритый доктор (дело было в воскресенье) и, кинув беглый взгляд на больную, покачал головой. Проживет еще день, от силы два. И хоть и жалел их, тут же ушел, чтобы не терзаться: уж очень тяжело было глядеть на Манишевица — беды валились на него одна за другой, боль не отпускала его ни на минуту. Видно, доктору не миновать пристраивать Манишевица в дом призрения.

Манишевиц пошел в синагогу, говорил там с Богом, но Бог куда-то отлучился. Портной искал в сердце своем, но не нашел там надежды. Умрет Фанни, и кто он будет? — живой мертвец. Прикинул, не покончить ли с собой, хоть и знал, что не покончит. А все равно прикинуть не мешало. Прикидываю, значит, существую. Он бранил Бога: кто Ты такой — камень, метла, пустота? ну разве можно такого любить? Рванул рубаху, терзал голую грудь, проклинал себя: зачем верил.

Днем он задремал в кресле, ему приснился Левин. Левин стоял перед тусклым зеркалом, охорашивал облезлые переливчатые, не по росту мелкие крылья.

— Раз так,— пробормотал, окончательно просыпаясь, Манишевиц,— может быть, он и ангел, почему нет?

Упросил соседку поглядывать на Фанни и иногда смачивать ей губы, натянул проносившееся пальто, схватил палку, кинул несколько центов в автомат метро, получил жетон и поехал в Гарлем. На такой поступок — идти искать, несколько в него не веря, черного чародея, чтобы он вернул его жену к жизни калеки,— Манишевиц решился только потому, что дошел в горе до края. И пусть у него нет другого пути, зато он пойдет назначенным ему путем.

Он доковылял до «У Беллы», но оказалось, что там сменился хозяин. Пока Манишевиц переводил дух, он разглядел, что сейчас здесь синагога. Ближе к витрине тянулись ряды пустых деревянных скамеек. Дальше помещался ковчег, его нетесаного дерева створки украшали яркие разводы из блесток; ковчег стоял на амвоне, где лежал развернутый священный свиток,— свешивающаяся на цепочке лампочка роняла на него тусклый свет. Вокруг амвона так, словно они прилипли к нему да и к свитку тоже, сидели, касаясь свитка кончиками пальцев, четверо негров в ермолках. Вскоре они стали читать священную книгу, и до Манишевица сквозь зеркальное стекло витрины донесся их заунывный распев. Один был старик с седой бородой. Один пучеглазый. Один горбатый. Четвертый — мальчик лет тринадцати, не старше. Они согласно раскачивали головами. Растроганный до глубины души знакомой с детства и юности картиной, Манишевиц вошел и молча остановился у порога.

— Neshoma,— сказал пучеглаз, тыча в книгу пальцем-обрубком.— Что это значит?

— Душа. Это слово значит душа,— сказал мальчик. Он был в очках.

— Валяй читай дальше, как там что толкуется,— сказал старик.

— Нам толкования ни к чему,— сказал горбун.— Души — они есть бесплотное осуществление. Только и всего. Вот откуда берется душа. Бесплотность берется из осуществ-

вления, и обои, и причинно и по-всякому иному, берутся из души. Ничего выше быть не может.

— Поднимай выше.

— Выше крыши.

— Погоди-ка,— сказал пучеглаз.— Я что-то никак не раскумекаю, что это за штука такая бесплотное осуществление. И как так вышло, что бесплотность и осуществление друг с дружкой связались? — обратился он к горбуну.

— Тут и объяснять нечего. Потому что это неосуществленная бесплотность. Ближе их и быть нельзя, они все равно как сердце с печенкой у нас внутри — да что там, еще ближе.

— Теперь ты дело говоришь,—сказал старик.

— Да ты же слова перевернул местами — только и всего.

— Неосуществленное осуществление оно и есть *primum mobile* *, и от него все пошло — и ты, и я, и все и вся.

— И как же это так получилось? Только ты мне попростому скажи, не путай.

— А все от духа пошло,— сказал старик.— И дух носился поверх воды. И это было хорошо. Так сказано в Библии. Полью из духа Моего на всякую плоть **.

— Слышь. А как вышло, что из духа вышло осуществление, если он всю дорогу, как есть, дух?

— Господь един все сотворил.

— Свят! Свят! Да славится имя Твое!

— А этот дух, у него цвет или, скажем, масть есть?—спросил пучеглаз, а сам и бровью не повел.

— Скажешь тоже. Дух, он и есть дух.

— Как же тогда вышло, что мы цветные? — ликующе вперился в него пучеглаз.

— А мы-то тут при чем?

— Ты мне все одно объясни.

* Первая причина, основная движущая сила (лат.).

** Искаженое: «Изолю от духа Моего на всякую плоть». Книга Пророка Иоиля, 2:28.

— Дух Божий почитет на всем,— ответил мальчик.— И на зеленых листьях, и на желтых цветах. И на золоте рыбок, и на синеве неба. Вот как вышло, что мы вышли цветные.

— Аминь.

— Восхвалим Господа и употребим не всуе имя Его!

— Вострубите в рога *, пока не треснет небо.

Они замолчали, уставились на следующее слово. Манишевиц приблизился к ним.

— Извиняюсь,— сказал он.— Я ищу Александра Левина. Вы его знаете или нет?

— Да это же ангел,— сказал мальчик.

— А, вон кого ему надо,— скривился пучеглаз.

— Вы его «У Беллы» застанете, через улицу напротив,— сказал горбун.

Манишевиц сказал, что ему очень жалко, но он никак не может еще побыть с ними, поблагодарил их и заковылял через улицу. Спустилась ночь. Фонари не горели, и он едва нашел дорогу.

Но «У Беллы» наяривали блюзы, да как — просто чудо, что дом не рухнул. Сквозь витрину Манишевиц разглядел все те же танцующие пары и стал искать среди них Левина. Левин сидел сбоку за Беллиным столиком и, похоже, болтал без умолку. Перед ним стояла почти опорожненная литровая бутылка виски. На Левине было все новое — яркий клетчатый костюм, жемчужно-серый котелок, двухцветные башмачищи на пуговках, а во рту сигара. К ужасу портного, прежде такое степенное лицо Левина носило неизгладимые следы пьянства. Придвинувшись к Белле, Левин щекотал ей мизинцем мочку уха и что-то нашептывал, она заходилась хриплым смехом. И тискала его коленку.

Манишевиц собрался с духом и распахнул дверь — встретили его не слишком радушно.

— Мест нет.

— Пшел, белая харя.

* Искаженное: «Вострубите рогом в Гиве, трубою в Раме». Книга Пророка Осии, 5:8.

— Тебя тут только не хватало, Янкель, погань жидовская.

Но он пошел прямо к столику Левина, и толпа расступилась перед ним.

— Мистер Левин,— сказал он срывающимся голосом,— Манишевиц таки пришел.

Левин вперился в него помутневшими глазами.

— Выкладывай, что у тебя, парень.

Манишевица трясло. Спина невыносимо ныла. Больные ноги сводила судорога. Он огляделся по сторонам — у всех вокруг выросли уши.

— Очень извиняюсь, мне бы надо поговорить с вами глаз на глаз.

— С пьяных глаз только и говорить что глаз на глаз.

Белла зашлась визгливым смехом:

— Ой, ты меня уморишь!

Манишевиц вконец расстроился, подумал — не уйти ли, но тут Левин обратился к нему:

— Попрошу объяснить, что пбудило вас обратиться к вашему пкорному слуге?

Портной облизнул потрескавшиеся губы.

— Вы еврей. Что да, то да.

Левин вскочил, ноздри у него раздувались.

— Вам есть что добавить?

Язык у Манишевица отяжелел — не повернуть.

— Гворите счас, в противном случае попрошу впредь не приходить.

Слезы застилали глаза портного. Где это видано так испытывать человека? Что ж ему теперь, сказать, что он верит, будто этот пьяный негр — ангел?

Молчание мало-помалу сгущалось.

В памяти Манишевица всплывали воспоминания юности, а в голове у него шарики заходили за ролики: верю — не верю, да, нет, да, нет. Стрелка останавливалась на «да», между «да» и «нет», на «нет», да нет, это же «да». Он вздохнул. Стрелка двигалась себе и двигалась, ей что, а выбирать ему.

— Я так думаю, вы — ангел, от самого Бога посланный,— сказал Манишевиц пресекающим голосом, думая: если ты что сказал, так уже сказал. Если ты во что веришь, так надо и сказать. Если ты веришь, так ты уже веришь.

Поднялся шум-гам. Все разом заговорили, но тут заиграла музыка, и пары пустились в пляс. Белла, заскучав, взяла карты, сдала себе. У Левина хлынули слезы.

— Как же вы меня унизили!

Манишевиц просил прощения.

— Подождите, мне надо привести себя в порядок.— Левин удалился в туалет и вышел оттуда одетый по-прежнему.

Когда они уходили, никто с ними не попрощался.

До квартиры Манишевица доехали на метро. Когда они поднимались по лестнице, Манишевиц показал палкой на дверь своей квартиры.

— По этому вопросу меры приняты,— сказал Левин.— А вы бы смылись, пока я взмою.

Все так быстро кончилось, что Манишевиц был разочарован, тем не менее любопытство не оставляло его, и он проследовал по пятам за ангелом до самой крыши, хотя до нее было еще три марша. Добрался, а дверь заперта.

Хорошо еще, там окошко разбито — через него поглядел. Послышался чудной звук, будто захлопали крылья, а когда Манишевиц высунулся, чтоб посмотреть получше, он увидел — ей-ей,— как темная фигура, распахнув огромные черные крыла, уносится ввысь.

Порыв ветра погнал вниз перышко. Манишевиц обомлел, оно на глазах побелело, но оказалось, это падал снег.

Он кинулся вниз, домой. А там Фанни уже шуровала вовсю — вытерла пыль под кроватью, смахнула паутину со стен.

— Фанни, я тебя обрадую,— сказал Манишевиц.— Веришь ли, евреи есть везде.

ЖИВЫМ НАДО ЖИТЬ

Мужчину она вспомнила. Он приходил сюда в прошлом году, в этот же день. Сейчас он стоял у соседней могилы, порой оглядывался, а Этта, перебирая четки, молилась за упокой души своего мужа Армандо. Порой, когда становилось совсем невмоготу, Этта просила Бога, чтобы Армандо потеснился и она смогла лечь в землю рядом с ним. Было второе ноября, день поминовения; не успела она прийти на римское кладбище Кампо-Верано и положить букет на могилу, как стал накрапывать дождь. Вовек не видать Армандо такой могилы, если бы не щедрость дядюшки, врача из Перуджи. И лежал бы сейчас ее Армандо Бог весть где, уж разумеется, не в такой чудесной могилке; впрочем, кремировать его Этта все равно бы не позволила, хотя сам он, помнится, частенько просил об этом.

Этта зарабатывала в драпировочной мастерской жалкие гроши, страховки Армандо не оставил... Как ярко, как пронзительно горят среди ноябрьской хмари в пожухлой траве огромные желтые цветы! Этта залилась слезами. Таким слезам она радовалась: хоть и знобит, но на сердце становится легче. Этте было тридцать лет, она носила глубокий траур. Худенькая, бледная, лицо заострилось, влажные карие глаза покраснели и глубоко запали. Армандо трагически погиб год с лишним назад, и с тех пор она приходила молиться на могилу едва ли не каждый день перед поздним римским закатом. Этта преданно хранила память об Армандо в опустошенной, разоренной душе. Дважды в неделю бывала у духовника, по воскресеньям ходила к причастию.

Ставила свечи в память об Армандо в церкви Богоматери Скорбящей, раз в месяц заказывала заупокойную мессу, даже чаще, если случались лишние деньги. По вечерам возвращалась в нетопленную квартиру: она продолжала жить здесь оттого, что когда-то здесь жил он; войдя в дом, вспоминала Армандо — каким он был десять лет назад, а не в гробу. Она совсем извелась и почти ничего не ела.

Когда она закончила молитву, еще сеял дождь. Этта сунула четки в сумочку и раскрыла черный зонт. Мужчина в темно-зеленой шляпе и узком плаще отошел от соседней могилы и, остановившись в нескольких шагах от Этты, закурил, пряча сигарету в маленьких ладонях. Стоило Этте отвернуться от могилы, он приветственно дотронулся до своей шляпы. Небольшого роста, темноглазый, тонкоусый. И, несмотря на мясистые уши, вполне привлекательный мужчина.

— Ваш муж? — спросил он почтительно, выдохнув одновременно табачный дым; сигарету он прикрывал ладонью от дождевых капель.

— Да, муж.

Он кивнул на соседнюю могилу, от которой отошел:

— Моя жена. Я был на работе, она спешила к любовнику и на площади Болоньи попала под такси — насмерть.— Он говорил без горечи, очень сдержанно, но взгляд его тревожно блуждал.

Этта увидела, что мужчина поднимает воротник плаща — он уже изрядно промок,— и нерешительно предложила ему дойти до автобусной остановки под ее зонтиком.

— Чезаре Монтальдо,— тихо представился он, взял из ее рук зонт — торжественно и печально — и поднял его повыше, чтобы закрыть обоих.

— Этта Олива.

На высоких каблуках она оказалась почти на полголовы выше спутника.

Они медленно шли к кладбищенским воротам по аллее среди мокрых кипарисов. Этта пыталась скрыть, сколь

потрясена она рассказом Чезаре — даже посочувствовать вслух ей было тяжело.

— Скорбеть об утратах непросто,— сказал Чезаре.— Знай об этом все люди, смертей было бы меньше.

Она вздохнула и улыбнулась в ответ.

Напротив автобусной остановки было кафе со столиками под натянутым тентом. Чезаре предложил кофе или мороженого.

Этта поблагодарила и собралась было отказаться, но он глядел так печально и серьезно, что она согласилась. Переходя улицу, Чезаре слегка поддерживал ее за локоть, а другой рукой крепко сжимал рукоятку зонта. Этта сказала, что замерзла, и они вошли внутрь.

Себе он взял кофе, Этта заказала кусок торта и теперь ковыряла его вилкой. Он снова закурил, а между затяжками рассказывал о себе. Говорил негромко и красиво. Сообщил, что он — независимый журналист. Прежде работал в какой-то скучной государственной конторе, но бросил — очень уж опротивело, хотя мог и директором стать. «Королем в королевстве скуки». Теперь он подумывал, не уехать ли в Америку. Брат звал погостить несколько месяцев у него в Бостоне и тогда уж решить: ехать ли навсегда. Брат предполагал, что Чезаре сможет эмигрировать через Канаду. А он колебался, не мог расстаться со своей нынешней жизнью. Сдерживало также, что он не сможет ходить на могилу жены. «Вы же знаете, как трудно порвать с тем, кого когда-то любил».

Этта нашарила в сумочке носовой платок и промокнула глаза.

— Расскажите теперь вы,— предложил он сочувственно.

И к своему удивлению, она вдруг разоткровенничалась. Она часто рассказывала свою историю священникам, но никому больше — даже подругам. И вот она делится с вовсе незнакомым человеком, и отчего-то ей кажется, что он поймет. Да и пожалей она потом о своей откровенности — не страшно, ведь они больше никогда не увидятся.

Когда она призналась, что сама вымолила у Бога мужниной смерти, Цезаре оставил кофе и стал слушать, не выпуская изо рта сигарету.

Армандо, рассказывала Этта, влюбился в свою двоюродную сестру, приехавшую из Перуджи в Рим летом на сезонную работу. Отец девушки попросил ее приютить, и Армандо с Эттой, взвесив все за и против, согласились. Она будет платить за квартиру, и на эти деньги они купят подержанный телевизор: уж очень им хотелось смотреть по четвергам популярную в Риме телевикторину «Оставь или удвой», смотреть у себя дома, а не ждать униженно приглашения от противных соседей. Сестрица приехала, звали ее Лаура Анзальдо. Смазливая, крепко сбитая девушка восемнадцати лет с густыми каштановыми волосами и большими глазищами. Спала она на тахте в гостиной, с Эттой ладила, помогала готовить и мыть посуду. Этте девчонка нравилась, пока Армандо в нее по уши не влюбился. Тогда Этта попыталась выгнать Лауру, но Армандо пригрозил бросить Этту, если она не оставит девчонку в покое. Однажды, вернувшись с работы, Этта застала их голыми на супружеской постели. Она кричала и плакала. Обзывала Лауру вонючей шлюхой и клялась, что убьет ее, если та немедленно не уберется. Армандо каялся. Обещал отправить девицу обратно в Перуджу и, действительно, на следующий день проводил ее на вокзал и посадил на поезд. Но разлуки не вынес. Стал раздражительным и несчастным. Однажды вечером, в субботу, он во всем признался Этте и даже сходил потом к причастию, впервые за десять лет, но не успокоился — наоборот, он желал эту девушку все сильнее и сильнее. Через неделю он сказал Этте, что едет за своей двоюродной сестрой, что привезет ее обратно в Рим.

— Попробуй приведи сюда эту шлюху! — закричала Этта. — Я буду молиться, чтоб ты сюда живым не вернулся!

— Что ж, начинай, — сказал Армандо. — Молись.

Он ушел, а она принялась молиться об его смерти.

В тот вечер Армандо отправился за Лаурой вместе с

приятелем. У приятеля был грузовик, и ему надо было съездить в Ассизи. Сговорились, что на обратном пути он снова заедет в Перуджу за Армандо и Лаурой и привезет их в Рим. Выехали в сумерки, но вскоре стало совсем темно. Сначала Армандо вел машину, но потом его сморило, и он забрался спать в фургон. После жаркого сентябрьского дня в горах было туманно, и грузовик налетел на огромный камень. Их сильно потрянуло, и сонный Армандо выкатился из незакрытого фургона, ударился о дорогу головой и покатился вниз по склону. Докатился он уже мертвым. Когда Этта обо всем узнала, она потеряла сознание, заговорить смогла лишь на третий день. И стала молить Господа, чтобы Он дал умереть и ей. И молит об этом по сей день.

Этта повернулась спиной к другим — пустым — столикам и дала волю тихим слезам.

Помолчав, Чезаре погасил окурок.

— Успокойтесь, сеньора, calma. Пожелай Господь, чтобы ваш муж жил,— он и сегодня был бы жив-здоров. Молитвы ничего не значат. Мне думается, это просто совпадение. Да и не стоит так уж верить в Бога — только себя мучить.

— Молитва есть молитва,— сказала она.— Я за свою поплатилась.

Чезаре сжал губы.

— Кому тут судить? Все сложнее, чем мы думаем. Я вот не молился о смерти жены, но, признаюсь, вполне мог желать ей смерти. Так чем я лучше вас?

— Но я-то молилась — значит, согрешила. А на вас греха нет. Молитва совсем не то, что простые мысли.

— Это, сеньора, как посмотреть.

— Будь Армандо жив,— сказала она, помолчав,— ему бы через месяц исполнилось двадцать девять. А я на год старше. Но мне теперь жить незачем. Жду своего часа.

Чезаре покачал головой, он выглядел растроганным и заказал для нее кофе.

Хотя Этта уже не плакала, впервые за долгие месяцы на душе у нее полегчало.

Чезаре проводил Этту до автобуса; переходя улицу, предложил изредка встречаться — ведь у них так много общего.

— Я живу совсем как монашка,— сказала Этта.

Он приподнял шляпу:

— Побольше бодрости, сеньора, согaggio.— И она улыбкой поблагодарила его за участие.

Но в тот вечер ужас одинокой — без Армандо — жизни нахлынул на нее с новой силой. Она вспомнила Армандо еще не мужем, а ухажером и устыдилась, что рассказала о нем Чезаре. Этта поклялась себе молиться еще больше и покаяться во всех грехах, дабы вымолить для Армандо в Чистилище прощение Господне.

Чезаре появился спустя неделю, в воскресенье днем. Он записал ее имя в блокнот и с помощью приятеля из электрической компании узнал, что она живет на виа Номентана.

Открыв дверь на его стук, Этта удивилась, даже побледнела, хотя он почтительно мялся на пороге. Он объяснил, что узнал ее адрес случайно, а расспрашивать она не стала. Чезаре принес букетик фиалок, Этта смущенно приняла их и поставила в воду.

— Вы выглядите получше, сеньора.

— Но я все еще в трауре,— печально улыбнулась она.

— Moderazione, во всем нужна мера,— сказал он назидательно, теребя мясистое ухо.— Вы женщина еще молодая и весьма привлекательная. Так признайтесь себе в этом. Уверенность в себе никогда не помешает.

Этта приготовила кофе, и Чезаре настоял, что сходит за пирожными.

За столом Чезаре снова сказал, что, вероятно, уедет в Америку, если ничего лучшего не подвернется. И, помолчав, добавил, что с мертвыми расплатился сполна.

— Я был верен ее памяти, но пора подумать и о себе. Пришло время вернуться к жизни. Это так естественно.

Живым надо жить.

Она, опустив глаза, отпила кофе.

Чезаре поставил на стол чашку и поднялся. Надел плащ, поблагодарил Этту. Застегивая плащ, пообещал зайти еще, когда окажется неподалеку. Он бывает в этих краях у друга, тоже журналиста.

— Не забудьте, я еще в трауре,— сказала Этта.

Он почтительно взглянул на нее:

— Как можно забыть, сеньора? Кто посмеет забыть, пока в трауре ваше сердце?

Ей стало неловко.

— Но вы же знаете мою историю.— Она словно решила объяснить все заново.

— Знаю,— отозвался он.— Знаю, что нас обоих предали. Они умерли, а мы страдаем. Моя жена вкусила запретный плод, а у меня от него отрыжка.

— Они тоже страдают. И если Армандо суждено страдать, то пускай не из-за меня. Пускай он чувствует, что я все еще жена ему.— Глаза Этты снова наполнились слезами.

— Он умер, сеньора. Вы не жена ему больше,— сказал Чезаре.— Без мужа нет жены — разумеется, если не рассчитывать на Святого Духа.— Он сказал это очень сухо, а потом тихо добавил: — Вам нужно совсем другое: он мертв, а вы полны сил. Очнитесь.

— Сил физических, но не душевных.

— И физических, и душевных. В смерти нет любви. Она вспыхнула и взволнованно заговорила:

— Но есть любовь к умершим. Пусть он чувствует, что я искупаю мой грех, когда он искупает свой. И я останусь чиста, чтобы он попал в рай. Пускай он знает об этом.

Чезаре кивнул и ушел, но после его ухода Этту не покидало беспокойство. Она тревожилась непонятно отчего и на следующий день пробыла на могиле Армандо дольше обычного. Пообещала себе больше с Чезаре не видеться. Но прошло несколько недель, и она затосковала.

Журналист пришел однажды вечером почти месяц спустя; Этта встала на пороге, явно не собираясь впускать его в дом. Она заранее решила так поступить, если он объявится. Но Чезаре почтительно снял шляпу и предложил немного погулять. Предложение выглядело вполне невинным, и она согласилась. Они пошли по виа Номентана: Этта на высоченных каблуках, Чезаре — в маленького размера ботинках из блестящей черной кожи, он курил на ходу и болтал без умолку.

Были первые декабрьские дни, еще осенние, а не зимние. Последние листья цеплялись за ветви редких деревьев; в воздухе висела влажная дымка. Поначалу Чезаре говорил о политике, но на обратном пути, после кофе на виа Венти Сетtembre, он вернулся к прежней теме — а она-то надеялась избежать таких разговоров. Чезаре внезапно утратил обычную уравновешенность, заговорил быстро и сбивчиво. Он размахивал руками, его голос почти срывался от напряжения, а темные глаза тревожно блуждали. Этта испугалась, но была бессильна остановить Чезаре.

— Сеньора, — говорил он. — Где бы ни был ваш муж, вы ему своей епитимьей не поможете. Лучше помогите другому: вернитесь к нормальной жизни. Иначе ему придется искупать вдвойне — и свою собственную вину, и несправедливое бремя, которое возложили на него вы тем, что не хотите жить.

— Но я искупаю свои грехи, я не наказываю его. — Она тоже разволновалась и не могла говорить дальше; решила было дойти до дому молча и захлопнуть перед Чезаре дверь, но вдруг поняла, что торопливо объясняет: — Если мы станем близки, это будет прелюбодеянием. Мы предадим умерших.

— Что вы все с ног на голову ставите?

Чезаре остановился под деревом, он почти подпрыгивал на каждом слове.

— Это они, они нас предали! Простите, сеньора, но моя жена была свиньей. И ваш муж был свиньей. И скорбим-то

мы оттого, что ненавидим их. Умейте взглянуть правде в глаза.

— Довольно,— простонала она, ускоряя шаг.— Довольно, я не хочу вас слушать.

— Этта,— пылко воскликнул Чезаре, догоняя ее.— Дослушайте, а потом я проглочу язык. Запомните только одно. Верни Всевышний покойного Армандо на землю, он сегодня же уляжется в постель со своей сестрицей.

Этта заплакала. И, плача, пошла дальше; она знала, что Чезаре прав. Он, казалось, высказал все, что хотел, и, тяжело дыша, бережно довел ее под руку до дома. У подъезда Этта остановилась, она не знала, как бы проститься порешительней, чтобы разом положить всему конец, но Чезаре сам незамедлительно ушел, приподняв на прощанье шляпу.

Этта терзалась и мучилась больше недели. Ей безумно хотелось близости с Чезаре. Ее плоть вдруг вспыхнула огнем. Ее преследовали чувственные сны. Голый Армандо лежал в постели с Лаурой, и в этой же постели она сама сливалась воедино с Чезаре. Но наяву она боролась с собой: молилась, каялась в самых похотливых мечтаниях и проводила долгие часы на могиле Армандо, чтобы успокоиться.

Чезаре постучал к ней однажды вечером и хотел овладеть ею сразу, но она в ужасе — боясь осквернить супружеское ложе — пошла за ним, к нему домой. После, несмотря на стыд и вину, продолжала ходить на могилу Армандо, хотя гораздо реже; приходя к Чезаре, она не рассказывала, что была на кладбище. А он и не спрашивал; ни о своей жене, ни об Армандо он больше не упоминал.

Сначала она была сама не своя. Ей казалось — она изменяет мужу, но она повторяла снова и снова: мужа нет, он умер, мужа нет, я одинока — и постепенно начала в это верить. Мужа нет, осталась лишь память о нем. Она не изменяет мужу. Она одинокая женщина, и у нее есть любовник, вдовец, нежный и преданный человек.

Как-то ночью, в постели, она спросила Чезаре, возможно

ли им пожениться, но он ответил, что узы любви важнее супружеских. Уж им-то доподлинно известно, как супружество губит любовь.

Через два месяца Этта поняла, что беременна, и поспешила к Чезаре. Было утро, журналист встретил ее еще в пижаме и спокойно сказал:

— Что ж, дело житейское.

— Это твой ребенок.

— Я его признаю,— ответил Чезаре, и Этта ушла домой, взволнованная и счастливая.

Назавтра в обычный час она пришла к Чезаре, но прежде побывала на кладбище и рассказала Армандо, что наконец-то у нее будет ребенок; Чезаре она не застала.

— Съехал,— домохозяйка презрительно махнула рукой,— куда — неизвестно.

Хотя Этта исстрадалась, потеряв Чезаре, она винила себя, считала заклЯтой грешницей, даже ребенок во чреве не мог спасти ее от этих мыслей; но на кладбище, к могиле Армандо, она не ходила больше никогда.

Серебряный венец

Ганс-отец слег — умирал на больничной койке. Разные врачи давали разные советы, ставили разные диагнозы. Поговаривали о диагностической операции, но опасались, что он ее не переживет. А один врач нашел у него рак.

— Сердца,— с горечью сказал старик.

— А что, и такое бывает.

Молодой Ганс, Альберт — он преподавал биологию в средней школе,— после уроков не находил себе места от горя и слонялся по улицам. Против рака средств нет — что тут сделаешь? Он столько ходил, что у него едва не прохудились подметки. И чуть что вскипал: его выводили из себя и война, и атомная бомба, и загрязнение окружающей среды, и смерть, и, конечно же, сказывалось нервное напряжение — его тревожила болезнь отца. Он ничего не мог сделать для отца, и это сводило его с ума. За всю свою жизнь он ничего не сделал для отца.

Его коллега, учительница английского, с которой он разок переспал, старящаяся на глазах девушка, посоветовала ему:

— Альберт, если доктора не могут разобраться, обратись к врачевателям. Одни знают одно, другие — другое; никто не знает всего. Человеческий организм — это нечто непредсказуемое.

И хотя Альберт в ответ на ее слова невесело засмеялся, они запали ему в душу. Если специалисты расходятся во мнениях, к какому мнению тебе присоединиться? Если ты сделал все, что можно, что еще остается делать?

Как-то раз, долго проштатавшись в одиночестве по улицам

после уроков, он, удрученный заботами, недовольный собой, — неужели нельзя было найти какой-нибудь выход? — уже собирался спуститься в метро где-то в районе Бронкса, но тут к нему пристала толстая деваха с голыми мясистыми ручищами: она совала ему замусоленную рекламку, но учителю не хотелось ее брать. Видик у нее был тот еще, явно недоразвитая, это в лучшем случае. Лет пятнадцати, так он определил бы, но выглядит на все тридцать, а по умственному развитию ей небось лет десять, не больше. Кожа у нее лоснилась, оплывшее лицо было покрыто испариной, небольшой ротик разинут, как видно навечно, на большом, каком-то несфокусированном лице широко расставлены глаза — то ли водянисто-зеленые, то ли карие, а может быть, один зеленый, а другой карий — он затруднился бы точно определить. Она, похоже ничуть не смущаясь тем, что он ее разглядывает, тихо булькотела. Волосы, заплетенные в две толстые косы, падали ей на грудь; на ней были растоптанные суконные шлепанцы, лопавшиеся по всем швам, с отстающей подметкой, выцветшая длинная юбка красного цвета, открывавшая массивные лодыжки, и застегнутая на все пуговицы, хотя на дворе стоял жаркий сентябрь, коричневая кофта плотной вязки, еле сходявшаяся на могучем бюсте.

Учителя подмывало пройти мимо протянутой к нему пухлой детской руки. Вместо этого он взял рекламу. Что это — обыкновенное любопытство: стоит научиться читать, и читаешь все подряд? Милосердный порыв?

Альберт увидел текст и на идиш, и на иврите, но прочел английский: «Выздоровливаем больных. Спасаем умирающих. Приготавливаем серебряных венцов».

— Что же это за серебряный венец?

Деваха невнятно закудаhtала. Удрученный, он отвел глаза. А когда снова обратил на нее взгляд, она пустилась наутек.

Он изучил рекламку. «Приготавливаем серебряных венцов». В рекламке сообщалось имя и адрес не кого-нибудь, а раввина: Джонас Лифшиц жил поблизости. Серебряный ве-

нец заинтриговал Альберта. Он не мог взять в толк, как венец может спасти умирающего, но у него возникло ощущение, что он обязан все узнать. И хотя поначалу он противился этой мысли, он решил посетить раввина, и у него даже чуть отлегло от души.

Учитель поспешил дальше и через несколько кварталов дошел до дома под обозначенным на рекламке номером — захудалой синагоги, помещавшейся в магазине. «Конгрегация Теодора Герцля» * — оповещали буквы, неровно выведенные белой масляной краской на зеркальном стекле. Имя раввина, золотыми буквами поменьше, было А. Маркус. Над дверью слева от магазина номер дома снова повторялся, на этот раз вырезанными из жести цифрами, а под табличкой, где не значилось никакого имени, помещавшейся под мезузой **, торчала карточка, на которой карандашом было написано: «Раввин Джонас Лифшиц. В отставке. Советует. Задавайте звонку». Звонок, когда Альберт, собравшись с духом, позвонил, сколько он ни нажимал, никак не отозвался, и Альберт с замирающим сердцем повернул дверную ручку. Дверь мягко отворилась, и он нерешительно поднялся по тесной, плохо освещенной деревянной лестнице. Обуреваемый сомнениями, вглядываясь в мрак, он прошел один марш и уже подумывал повернуть назад, но на площадке второго этажа, сделав над собой усилие, громко постучал в дверь.

— Есть кто-нибудь?

Он забарабанил сильнее: злился на себя — зачем пришел, зачем рвется войти, скажи ему кто-нибудь такое час назад, он бы не поверил. Дверь приоткрылась, в щель выглянуло большое, кое-как слепленное лицо. Недоразвитая деваха подмигнула ему выпученным глазом и, шкворча, как яичница на сковородке, попятилась назад, захлопнув дверь перед его носом. Учитель, поразмыслив — слава Богу, недолго, — распахнул дверь: не то бы опоздал, не увидел, как деваха, при ее-то тол-

* Теодор Герцль (1860—1904) — венгерский журналист, основатель сионистского движения.

** Коробка или трубка с библейскими текстами, прикрепляется при входе в дом.

щине, промчалась, колотясь о стены, и скрылась в комнате в самом конце длинного узкого коридора.

Альберт, поборов смущение, а может быть и страх, нерешительно ступил в коридор, дав себе зарок тут же уйти, но не ушел — не преодолел любопытство и заглянул в первую по коридору комнату: ее освещали лишь тонкие, как нити, ручейки света, пробивавшиеся сквозь опущенные зеленые бумажные шторы. Шторы походили на выгоревшие карты древнего мира. Седобородый старик в ермолке, веко над его левым глазом вспухло, спал крепким сном в продавленном кресле, уронив на колени книгу. Откуда-то разило затхлостью, но может быть, что и от кресла. Альберт уставился на старика, и тот чуть не сразу проснулся. Толстенный томик свалился со стуком на пол, но старик не стал его поднимать, загнал ногой под кресло.

— Ну и на чем же мы остановились? — приветливо, чуть с задышкой спросил старик.

Учитель снял шляпу, но, вспомнив, к кому пришел, снова надел.

Он назвал себя.

— Я ищу раввина Джонаса Лифшица. Ваша... э... девочка пустила меня.

— Раввин Лифшиц это я, а это моя дочка Рифкеле. Она далека от совершенства, хотя Господь сотворил ее по образу и подобию своему, а если он не совершенен, то кто же совершенен? А что это значит, говорить не нужно.

Опухшее веко приспустилось и подмигнуло, по всей видимости произвольно.

— И что это значит? — спросил Альберт.

— Что по-своему и она совершенна.

— Как бы там ни было, она пустила меня, и я здесь.

— Ну и что же вы себе думаете?

— О чем?

— Что вы себе думаете, о чем мы имели разговор — о серебряном венце?

Разговаривая, раввин бегал глазами по сторонам, беспо-

койно сучил пальцами. Пройдоха, решил учитель. С ним надо держать ухо востро.

— Я пришел навести справки о венце, который вы рекламируете, — сказал он, — но, по правде говоря, у нас с вами не было разговора ни о венце, ни о чем другом. Когда я вошел, вы крепко спали.

— ... Вы же понимаете, возраст, — со смешком сказал раввин.

— Это было сказано не в укор вам. А чтобы внести ясность: я человек вам посторонний.

— Какой же вы мне посторонний, если мы оба верим в Бога?

Альберт не стал с ним спорить.

Раввин поднял шторы, и предзакатные лучи залили просторную с высоким потолком комнату, где как попало стояло полдюжины, если не больше, жестких складных стульев, а кроме них лишь продавленная кушетка. Интересно, что он здесь делает? Занимается групповой терапией? Ведет душеспасительные беседы, как полагается раввину? Учитель с новой силой напустился на себя: зачем пришел сюда? На стене висело овальное зеркало в узорчатой раме из больших и малых кружков позолоченного металла, и ни одной картины. Несмотря на пустые стулья, а может быть и благодаря им, комната казалась голой.

Учитель заметил, что брюки у раввина без пяти минут равные. На нем были мятый поношенный черный пиджак и пожелтевшая белая рубашка без галстука. В его слезящихся серо-голубых глазах жила тревога. Лицо у раввина Лифшица было смуглое, под глазами темнели бурые мешки, от него несло старостью. Откуда и запах. Походил ли он на свою дочь, сказать трудно: Рифкеле походила только на себе подобных.

— Ну садитесь, — с легким вздохом сказал старый раввин. — На диван не садитесь, садитесь на стул.

— На какой именно?

— Ой, вы же и шутник. — С рассеянной улыбкой раввин показал на два кухонных стула, на один из них сел сам. Про-

тянул тощую сигарету.

— Я бросил курить,— объяснил учитель.

— Я тоже.— Старик спрятал сигареты.— Ну и кто у вас больной? — осведомился он.

Альберта покоробил этот вопрос, ему вспомнилась рекламка, которую раздавала деваха: «Выздоровливаем больных, спасаем умирающих».

— Я не стану ходить вокруг да около: мой отец лежит в больнице, он тяжело болен. Точнее говоря, при смерти.

Раввин озабоченно кивнул, нашарил в кармане очки, протер их большим нечистым платком, надел, зацепив дужку сначала за одно мясистое ухо, потом за другое.

— Я так понимаю, что мы будем делать для него венец?

— Там посмотрим. Но пришел я к вам, чтобы разузнать про венец.

— И что такое вы хотите разузнавать?

— Буду откровенен.— Учитель высморкался, не спеша вытер нос.— По складу ума я прирожденный эмпирик, объективист, мистика, можно сказать, мне чужда. Я не верю во врачей, и пришел я к вам, по правде говоря, потому, что хочу сделать все возможное, чтобы вернуть отцу здоровье. Иначе говоря, я хочу испробовать все, все без исключения.

— И вы любите вашего отца? — завохтал раввин — он расчувствовался, глаза его заволоклись.

— Мое отношение к отцу и без слов ясно. Сейчас меня преимущественно заботит, как действует венец. Не могли бы вы изложить мне, по возможности точнее, механизм воздействия? К примеру, на кого его надевают? На отца? На вас? Или надеть его придется мне? Другими словами, как он функционирует? И, если вы не возражаете, также, на какие законы или логические обоснования он опирается? Для меня это *terra incognita* *, но я бы рискнул, если бы сумел хоть как-то оправдать для себя такое решение. Не могли бы вы мне показать, скажем, образчик венца, если у вас сейчас имеется в наличии таковой?

* Неизвестная земля (лат.).

Раввин — мысли его явно где-то витали — вскинулся, передумал ковырять в носу.

— Венец, что такое венец? — спросил он сначала надменно и повторил уже более мягко: — Венец — это венец, что еще тут скажешь? О венцах говорят в Мишне *, в Притчах **, в Кабале ***, священные свитки Торы **** часто защищают венцы. Но этот венец — совсем другой венец, и вы сами это поймете, когда от него будет действие. Это чудо. Мы не имеем образчика. Венец надо делать лично для вашего отца. Тогда ему вернется здоровье. Мы имеем два вида венцов — дешевле и дороже.

— Не откажите объяснить, что предположительно излечивает болезнь,— сказал Альберт.— Основан ли венец на тех же принципах, что и симпатическая магия? Мой вопрос не означает, что я передумал. Просто меня интересуют всевозможные природные явления. Предполагается, что венец оттягивает болезнь наподобие припарки, или у него иной принцип действия?

— Венец — это не лекарство, венец — это здоровье вашего отца. Мы преподносим венец Богу, а Бог возвращает здоровье вашего отца. Но для этого мы сначала изготавливаем венец, как надо изготавливать венцов,— и я буду работать с моим помощником, он ювелир, сейчас уходил от дел. Он со мной сделал, я знаю, уже тысячу венцов. Верьте мне, он понимает серебро, как никто не понимает серебро: знает точно, сколько надо унций на смотря какой размер вы хотите. Потом я благословляю венец. Без благословения по всем правилам, слово в слово, вы не будете иметь пользы от венца. Ничего не буду говорить, вы сами понимаете почему. Мы кончаем венец, здоровье вашего отца вер-

* Часть Талмуда, в которой собраны законы, передававшиеся до III в. н. э. изустно.

** Книга Притчей Соломоновых.

*** Мистическое толкование Писания раввинами древности.

**** Древнееврейское название Пятикнижия. На чехле, прикрывающем Тору, бывает выткан или нарисован венец.

нется. Это я вам обещаю. А теперь я вам буду читать из мистической книги.

— Из Кабалы? — почтительно спросил учитель.

— Навроде Кабалы.

Раввин поднялся, подошел к креслу, тяжело опустился на четвереньки, извлек из-под кресла толстенький томик в выгоревшем малиновом переплете — названия на нем не было. Раввин приложился губами к книге, скороговоркой прочел молитву.

— Я ее запрятал, — объяснил он, — когда вы вошли. А что делать — гои врываются в твой дом среди дня, возьмут себе все что хотят, и еще спасибо, если не возьмут твою жизнь.

— Я уже упоминал, что меня впустила ваша дочь, — сконфузился Альберт.

— Вы мне раз сказали, и я уже понял.

И тут учитель спросил:

— Предположим, я не верю в Бога? Венец подействует, если заказчик сомневается?

— Он сомневается, а кто не сомневается? Мы сомневаемся в Боге, Бог сомневается в нас. При нашей ненормальной жизни это только нормально. Пусть у вас будут сомнения, это не страшно, лишь бы вы любили своего папу.

— Это звучит как парадокс.

— Ну и что такого плохого в парадоксе?

— У папы не самый легкий характер, у меня, кстати, тоже, но он много для меня сделал, и мне хотелось бы взамен сделать что-нибудь для него.

— Богу угоден благодарный сын. Если вы любите папу, ваша любовь идет в венец, и ваш папа поправляется. Вы понимаете иврит?

— К сожалению, нет.

Раввин перелистал несколько страниц толстенького томика, пробежал одну из них, прочел вслух пару фраз на иврите, потом перевел их на английский: — «Венец — плод Божьей благодати. Благодать Божья в любви к творениям

Своим». Эти слова я буду читать семь раз над серебряным венцом. Это и будет самое важное благословение.

— Отлично. Но нельзя ли остановиться поподробней на тех двух ценах, о которых вы только что упомянули?

— Цена будет такая, какое лечение вам хочется — быстрое или как?

— Я хочу, чтобы излечение наступило незамедлительно, иначе наша сделка вообще не имеет смысла.— Альберт весь кипел, но держал себя в руках.— Если вы ставите под сомнение искренность моих намерений, напомню, я вам уже говорил, что рассматриваю возможность обратиться и к такому методу, хоть это и означает, что мне придется поступиться моими убеждениями. Я старался самым тщательнейшим образом объяснить вам все мои за и против.

— А я что говорю — нет?

Тут учитель заметил в дверях Рифкеле — она уплетала хлеб, густо, но неровно намазанный маслом. Рифкеле с некоторым удивлением взирала на Альберта, словно видела его впервые.

— *Shreter* *, Рифкеле,— нетерпеливо сказал раввин.

Девочка запихнула ломоть в рот и, грузно топоча, побежала по коридору.

— Так или иначе, но нельзя ли остановиться поподробнее на тех двух ценах? — спросил Альберт, раздосадованный перерывом в разговоре.

Стоило Рифкеле появиться, и на него, точно воины с копьями наперевес, наступили сомнения.

— Мы имеем двух разных венцов,— сказал раввин.— Один вам будет обходиться в четыреста один, другой в девятьсот восемьдесят шесть.

— Долларов, так надо понимать? Это просто неслыханно.

— Венец будет из чистого серебра. Заказчик платит нам серебряных долларов. Ну а мы даем их в расплавку: на большой венец идет больше долларов, на средний — меньше.

— А на маленький?

* Потом (*идиш*).

— Маленьких венцов не имеем. Какая польза от маленького венца?

— Не мне судить, но вы, по всей видимости, исходите из предположения, что чем больше венец, тем он лучше. Скажите мне, пожалуйста, какими преимуществами обладает венец за девятьсот восемьдесят шесть долларов перед венцом за четыреста один доллар? Обеспечивает ли большой венец пациенту более быстрое выздоровление? Ускоряет ли величина венца его действие?

Раввин — он чесал пятерней в жидкой бороденке — подтвердил.

— Предполагаются ли добавочные расходы?

— Расходы?

— Кроме и сверх вышеупомянутой цены?

— Цена есть цена, поверх нее мы ничего не берем. Мы берем эту цену за серебро, за работу и за благословение.

— А теперь, если допустить, что я решусь заключить с вами сделку, не будете ли вы любезны просветить меня, где бы я мог раздобыть четыреста один серебряный доллар? Или, если я остановил бы свой выбор на изделии за девятьсот восемьдесят шесть долларов, где мне разжиться такой уймой серебряных монет? Предполагаю, что сейчас такого количества серебра не держит в наличности ни один банк Бронкса. Бронкс — это вам уже давно не дикий запад, рабби Лифшиц. И что гораздо более существенно, насколько я могу судить, серебряные доллары уже давно чеканят не из чистого серебра?

— Не из чистого, так не из чистого, мы будем покупать серебро оптом. Вы будете давать мне наличные, я буду заказывать серебро у оптовика — вам же лучше, не надо идти в банк. Вы будете иметь столько же серебра, но в брусочках, я буду вешать его при ваших глазах.

— И еще один вопрос. Не согласитесь ли вы, чтобы я уплатил вам чеком? Я мог бы выдать его сразу, едва приму окончательное решение.

— Э, если б я мог, мистер Ганс, — сказал раввин, нерв-

но ероша бороденку рукой в набухших венах,— но когда вы имеете такого тяжелого больного, лучше получать наличные, чтобы приступить к работе не промедляя. Чек могут возвратить, или он потеряется в банке, и тогда венец не будет иметь действия.

Альберт не спросил почему: он подозревал, что дело не в неоплаченных и не в затерявшихся чеках. Скорее всего кое-кто из заказчиков по зрелом размышлении давал приказ банку отменить оплату чека.

Пока учитель обдумывал, что ему делать — стоит или не стоит согласиться? и какие соображения перевешивают: рациональные или сентиментальные? — старый раввин сидел в кресле, торопливо бегая глазами по страницам мистического томика, губы его беззвучно спешили вслед за глазами.

Наконец Альберт поднялся.

— Сегодня вечером я приму окончательное решение по этому вопросу. Если я сочту возможным прибегнуть к венцу и связать себя обязательствами, я доставлю вам деньги завтра же после рабочего дня.

— Чтобы вы у меня были здоровы! — сказал раввин. Снял очки, вытер один, потом другой глаз платком.

«Пустил слезу или притворяется?» — подумал учитель.

Когда Альберт закрыл за собой парадную дверь, он скорее был склонен испытать венец, и у него было легко, едва ли не радостно на душе.

Но всю ночь он проворочался, и к утру в его настроении произошел полный переворот. Его обуяли тоска и раздражение, от злости кидало то в жар, то в холод. Бросить деньги на ветер, иначе это не назовешь. Я попал в руки ловкого мошенника, тут не может быть двух мнений, но почему-то готов идти у него на поводу. Может быть, подсознание велит мне плыть по течению и заказать венец. А там посмотреть, что из этого выйдет — то ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет. Ничего путного наверняка не выйдет, но, что бы ни было, совесть моя чиста.

И все же когда учитель на следующий день посетил рав-

вина Лифшица в той же самой загроможденной пустыми стульями комнате, хоть у него и лежала в бумажнике необходимая сумма, он с тяжелым сердцем готовился расстаться с нею.

— Куда идут венцы после того, как их пустят в дело и пациент выздоровеет? — задал он раввину коварный вопрос.

— Я очень рад, что вы меня об этом спрашивали, — не растерялся раввин — он опустил распухшее веко. — Венцов мы отдаем в расплавку, а серебро отдаем бедным. Mizvah * для одного — это и mizvah для другого.

— Как, как — бедным?

— Бедных людей, мистер Ганс, всегда хватает. Им тоже бывает нужно венцов для больных — для жены, я знаю, для ребенка. Ну а где они будут брать серебро?

— Я понимаю, вы говорите о повторном использовании серебра, но разве нельзя вторично применить венец, как есть? А я говорю вот о чем: выжидаете ли вы какое-то время, прежде чем пустить венец в переплавку? Что, если умирающий выздоровеет, а по прошествии какого-то времени снова серьезно заболевает?

— Для новой болезни надо делать новый венец. Завтра мир не такой, как сегодня, хотя Бог слушает нас теми же ушами.

— Вот что, рабби Лифшиц, — прервал его Альберт. — Не стану скрывать, я постепенно склоняюсь к тому, чтобы заказать венец, но мне было бы во всех отношениях легче принять решение, если б вы дали мне мельком глянуть на один из них — это займет секунд пять, не больше, — на венец, который вы в данный момент изготавливаете для другого заказчика.

— И много вы будете видеть за пять секунд?

— Достаточно. Я по виду предмета определю, смогу ли я поверить в его действенность, стоит ли он хлопот и отнюдь не малых сумм, которые я в него вложу.

— Мистер Ганс, — ответил раввин. — Витрины имеют ма-

* *Буквально: заповедь (идиш). Здесь — доброе, угодное Богу дело.*

газины, у нас не магазин. И вы покупаете у меня не новую модель «шевроле». Ваш папа прямо сейчас умирает в больнице. Вы любите его, вы хотите заказать мне венец, чтобы он стал здоровый?

Учитель дал волю гневу:

— Не валяйте дурака, рабби, вы об этом уже спрашивали. Я бы вас попросил не уводить меня в сторону. Вы играете на моем чувстве вины перед папой, чтобы отвлечь от вполне основательных сомнений, которые вызывает у меня ваше не внушающее особого доверия предприятие. Напрасный труд.

Они испепеляли друг друга глазами. У раввина тряслась борода. Альберт скрипел зубами.

В соседней комнате взвыла Рифкеле.

Раввин возбужденно засопел, но тут же смягчился.

— Вы будете видеть венец,— вздохнул он.

— Извините, я погорячился.

Извинения были приняты.

— Ну а теперь, пожалуйста, скажите мне, чем болен ваш папа?

— Никто толком не знает,— сказал Альберт.— Однажды он лег в постель, повернулся лицом к стене и сказал: «Я заболел». Сначала у него подозревали лейкемию, но анализами этот диагноз не подтвердился.

— Ну а с врачами вы поговорили?

— С какими только врачами я не говорил. Просто чудо, что у меня язык не отнялся. Все до одного невежды,— сказал учитель срывающимся голосом.— Так или иначе, только никто не знает, что с ним. У него предполагают и редкую болезнь крови, и чуть ли не карциному неких эндокринных желез. Словом, чего только у него не находят, и притом всегда с осложнениями типа болезни Паркинсона, а то и Аддисона, рассеянного склероза или чего-то в этом роде, иногда одну болезнь, а иногда целый букет. Словом, сплошная загадка, темна вода во облаках.

— Значит, вам надо делать совсем особенный венец,—

сказал раввин.

Учитель вскипел:

— Что значит — особенный? И в какую цену такой венец обойдется мне?

— Он обойдется вам в ту же цену,— отрезал раввин.— Но и фасон будет другой, и благословение другое. Когда такое темное дело, нужен совсем особенный венец, и венец побольше.

— И как он действует?

— Как два вихря, когда они летят по небу навстречу друг другу. Белый вихрь и синий вихрь. Синий говорит: «Я не только синий, а внутри я еще и лиловый, и огненный». И тогда белый улетает. А что ему остается делать?

— Если вы сумеете изготовить такой венец за ту же цену, я не против.

Раввин Лифшиц опустил зеленые шторы на обоих окнах, закрыл дверь — в комнате стало темно.

— Садитесь,— раздался в крошечной тьме его голос.— Я буду вам показывать венец.

— Я и так сажу.

— Ну так и сидите, где сидите, только поворачивайтесь к той стене, где зеркало.

— Но зачем такая темень?

— Вы будете видеть свет.

Раввин чиркнул спичкой, спичка вспыхнула, и тени свечей и стульев заплясали на полу между пустыми стульями.

— Теперь посмотрите в зеркало.

— Смотрю.

— И что вы там видите?

— Ничего.

— А вы глазами смотрите.

Серебряный канделябр, сначала с тремя, потом с пятью, а там и с семью хилыми горящими свечами, подобно призрачным пальцам с охваченными огнем кончиками, возник в овальном зеркале. В лицо Альберту пахнуло жаром, на минуту он опешил.

Но тут же вспомнил розыгрыши, которыми увлекался в детстве, и подумал: не на того напали. Иллюзионистских трюков вроде этого я в детстве навиделся. Раз так, только меня здесь и видели. Тайны — это еще куда ни шло, но магические фокусы и равнины-фокусники — это уже слишком.

Канделябр исчез, но свет от него остался, и теперь в зеркале возникло сумрачное лицо раввина, его глаза, обращенные на Альберта. Он быстро посмотрел вокруг — уж не стоит ли кто за его спиной, но нет, никого. Куда спрятался раввин, учитель не мог понять; однако из освещенного зеркала на него глядело морщинистое осунувшееся лицо старика, его грустные глаза, властные, пытливые, усталые, а может быть, даже испуганные, словно они столько всего повидали на своем веку, что ничего не хотят больше видеть, но нет — все равно смотрят.

Что это такое — слайды или домодельный фильм? Альберт поискал, откуда проецировали изображение, однако не обнаружил источника света ни на потолке, ни на стенах, не обнаружил также ни одного предмета, ничего, что могло бы отразиться в зеркале.

Глаза раввина сияли, точно облака, пронизанные солнечными лучами. На синем небе вставала луна. Учитель не решался шелохнуться, боялся, а вдруг он обездвижил. И се — узрел на голове раввина сияющий венец.

Сначала он возник пред ним витками переливчатого тюрбана, потом засветился, оборотившись — подобно причудливых очертаний звезде в ночном небе — серебряным венцом, где затейливо переплелись полосы, треугольники, полукруги, полумесяцы, шпильки, башенки, деревья, остроконечные пики; казалось, буря забросила их ввысь и, завертев вихрем, скрутила так, что они сцепились — не расцепить — в единое мерцающее изваяние, где чего только нет.

Венец редкостной красоты — весьма впечатляющее зрелище, подумал Альберт — показался в призрачном зеркале на каких-то пять секунд, потом отражение в стекле постепен-

но потемнело, потухло.

Подняли шторы. Свет единственной висевшей под потолком лампочки в матовом стеклянном тюльпане резко залил комнату. Наступил вечер.

Старый раввин при последнем издыхании сидел на продавленной кушетке.

— Ну, вы видели?

— Видел нечто.

— Вы верите в венец, что вы видели?

— Что видел, верю. Так или иначе, я его беру.

Раввин непонимающе уставился на него.

— То есть я согласен заказать венец,— не сразу сказал Альберт: ему пришлось откашляться.

— Какого размера?

— Какого размера венец, который я видел?

— Обоих размеров. Обоих размеров имеют один фасон, но на девятьсот восемьдесят шесть долларов нужно больше серебра, ну и больше благословения.

— Но вы же сказали, что ввиду особого характера болезни моего отца ему требуется совершенно особый венец и сверх того особое благословение!

Раввин кивнул:

— И они тоже приготавливаются двух размеров и за четыреста один доллар, и за девятьсот восемьдесят шесть долларов.

Учитель какую-то долю секунды колебался.

— Пусть будет большой,— сказал он твердо.

Вынул бумажник, отсчитал пятнадцать новеньких купюр: девять по сотне, четыре двадцатки, пятерку и один доллар — итого девятьсот восемьдесят шесть долларов.

Раввин вздел очки, торопливо пересчитал деньги, с хрустом перегибая пальцами каждую купюру, словно проверял, не слиплись ли они. Сложил жесткие бумажки пачечкой и сунул в карман брюк.

— Вы не могли бы выдать мне расписку?

— Я бы дал вам расписку, почему не дать,— веско ска-

зал раввин,— но за венцов расписки выдавать нельзя. Венцы и дела — это две большие разницы.

— Почему нельзя, если за них берут деньги?

— Бог не разрешает. Мой отец не давал расписки, а до него мой дед тоже не давал расписки.

— Как же я докажу, что уплатил деньги, если что-нибудь сорвется?

— Вы имеете мое слово — ничего не сорвется.

— Ну а если вдруг произойдет что-нибудь непредусмотренное,— не отступался Альберт,— вы вернете мне деньги?

— Вот ваши деньги,— сказал раввин и протянул учителю сложенные купюры.

— Ну что вы,— поспешил сказать Альберт.— Вы не могли бы мне сказать, когда будет готов венец?

— Завтра вечером, в канун субботы самое позднее.

— Так скоро?

— Ваш папа умирает или нет?

— Это верно, но венец, если судить по его виду, представляется мне изделием отнюдь не простым в изготовлении: ведь сколько разнородных предметов надо соединить.

— Мы будем спешить.

— Мне бы не хотелось, чтобы спешка в какой-то мере, скажем так, ослабила действие венца или, коли на то пошло, в какой-то мере ухудшила бы его качество по сравнению с тем образцом, который я видел в зеркале, словом, где бы там я его ни видел.

Веко у раввина опустилось и тут же, как видно произвольно, поднялось.

— Мистер Ганс, всех моих венцов, венцов первого класса. Пусть вас не беспокоят этих опасений.

Потом они пожали друг другу руки. Альберт, все еще обуреваемый сомнениями, вышел в коридор. Он чувствовал, что в тайная тайных не доверяет раввину; и подозревал, что раввин Лифшиц об этом догадывается и в тайная тайных не доверяет ему.

Рифкеле, пыхтя, как корова под быком, проводила его до двери и отлично с этим справилась.

В метро Альберт убедил себя, что отнесет эти расходы по линии приобретения опыта и посмотрит, что из этого выйдет. За учение надо платить, иначе его не получишь. Перед его мысленным взором вставал венец, ведь он же видел его на голове раввина, но тут ему вроде бы вспомнилось, что, когда он смотрел на плутоватое лицо раввина в зеркале, утолщенное веко его правого глаза медленно опустилось — раввин явно подмигнул ему. Действительно ли так запечатлелось в его памяти, или он мысленно отнес назад то, что видел уже перед уходом? И что хотел сказать раввин, подмигнув ему? Что он не только обдуривает его, но еще и издевается над ним? Учителю снова стало не по себе, ему ясно вспомнилось: когда он смотрел в рыбы раввиновы глаза в зеркале, едва они загорелись провидческим огнем, ему необоримо захотелось спать, и дальше он помнил только, что перед ним, как на экране телевизора, показался старикан в этом его — тоже мне! — магическом венце.

Альберт вскочил, заорал:

— Это магия, гипноз! Паршивый фокусник загипнотизировал меня! Никакого серебряного венца он мне не демонстрировал, венец мне померещился, меня облапошили!

Он рвал и метал: второго такого подлеца, лицемера и нахала, как раввин Лифшиц, не найти. От представления о целебном венце, пусть даже он поверил в него всего лишь на миг, не осталось камня на камне, и сейчас он думал только об одном: он своими руками выбросил девятьсот восемьдесят шесть долларов кошке под хвост. Сопровождаемый взглядами троих любопытствующих пассажиров, Альберт на следующей же остановке выскочил из вагона, кинулся вверх по лестнице, перебежал дорогу и потом долго остывал: ему пришлось целых двадцать две минуты расхаживать взад-вперед по станции, пока, громыхая, не подошел следующий поезд и не увез его обратно к дому раввина. И хотя он молотил в дверь обоими кулаками, пинал ее но-

гами и «задавал звону», пока не намозолил палец, звонок молчал, в деревянном — ящик ящиком — доме и в обшарпанной синагоге нигде не зажегся свет, не раздалось ни единого звука — дом внушительно, основательно молчал, напоминая гигантское чуть похилившееся надгробье на просторном кладбище; и в конце концов учитель, так никого и не разбудив, далеко за полночь отправился восвояси.

Наутро, едва проснувшись, он стал честить на все корки раввина и собственную глупость — это же надо было связаться с врачом. И поделом ему, как он мог хоть на минуту поступиться своими убеждениями? Неужели нельзя было найти менее обременительный способ помочь умирающему? Альберт уже подумывал обратиться в полицию, но у него не было расписки, и ему не хотелось выглядеть в глазах полицейских полным идиотом. В первый раз за шесть лет своей преподавательской деятельности его подмывало сказать больным, а потом вскочить в такси и вынудить раввина вернуть деньги. Мысль эта будоражила его. С другой стороны, а что, если раввин Лифшиц и впрямь занят работой, изготавливает со своим помощником венец, за который, скажем, после того как он купит серебро и заплатит отошедшему от дел ювелиру, получит, скажем, сто долларов чистой прибыли — не так уж и много: ведь серебряный венец и впрямь существует и раввин искренно, свято верит, что венец заставит отцовскую болезнь отступить. И как Альберт ни был издерган подозрениями, он все же сознавал, что пока не стоит обращаться к полиции: венец обещали изготовить лишь — ну да, старик так и сказал — в канун субботы, а значит, у него еще есть время до заката солнца.

Если до заката солнца венец будет готов, я не смогу предъявить раввину никаких претензий, пусть даже венец окажется сущей дрянью. Значит, надо подождать. Нет, но каким надо быть дураком, чтобы выложить девятьсот восемьдесят шесть долларов, когда вполне можно было заплатить четыреста один доллар. Одна эта ошибка встала мне в пятьсот

восемьдесят пять долларов.

Альберт, кое-как отбыв уроки, примчался на такси к дому раввина и попытался разбудить его, до того дошел, что стоял на улице и вопиял перед пустыми окнами; но то ли никого не было дома, то ли оба прятались — раввин пластался под продавленной кушеткой, Рифкеле безуспешно затискивала свою тушу под ванну. Альберт решил во что бы то ни стало их дожидаться. Старику недолго осталось отсиживаться дома: вскоре ему придется отправиться в синагогу — как-никак завтра суббота. Он поговорит с ним, пригрозит, чтобы не думал финтить. Но вот и солнце зашло; землю окутали сумерки, и хотя в небе засияли осенние звезды и осколок луны, в доме не зажгли света, не подняли штор; и раввин Лифшиц все не появлялся. В маленькой синагоге замелькали огни — там зажгли свечи. Но тут Альберту пришло в голову — и как же он досадовал на себя! — а что, если раввин сейчас молится; что, если он уже давно в синагоге?

Учитель вошел в длинный ярко освещенный зал. На складных светлого дерева стульях, расставленных как попало по комнате, сидели человек десять — читали молитвы по потрепанным молитвенникам. Раввин, тот самый А. Маркус, немолодой, с тонким голоском и рыжеватой бородкой, толкся у ковчега спиной к общине.

Альберт, преодолевая смущение, вошел, обвел взглядом присутствующих, все глаза обратились на него. Старого раввина среди них не было. Обманутый в своих ожиданиях учитель подался к выходу.

Человек, сидящий у двери, тронул его за рукав:

— Не уходите, помолитесь с нами.

— Спасибо. Очень бы хотел остаться, но я ищу друга.

— Ищите, ищите, глядишь, и найдете.

Альберт укрылся под роняющим листья каштаном через улицу от синагоги и стал ждать. Он набрался терпения, решил — если надо, прождет хоть до утра.

В начале десятого в синагоге потух свет, вскоре по-

следний молящийся ушел. С ключом в руке появился рыжебородый раввин — запереть дверь магазина.

— Извините за беспокойство, рабби,— подошел к нему Альберт,— но вы, наверно, знаете раввина Джонаса Лифшица — он живет наверху со своей дочерью Рифкеле, если, конечно, она ему дочь?

— Раньше он молился с нами,— сказал раввин с легкой усмешкой,— но с тех пор, как ушел на покой, предпочитает ходить в большую синагогу, не синагогу — дворец, на Мошулу-парквей.

— Вы не можете сказать, он скоро вернется?

— Наверно, через час, не раньше. Уже суббота, ему придется идти пешком.

— А вы... э... вы случайно ничего не знаете о серебряных венцах, которые он изготавливает?

— Что за серебряные венцы?

— Помогать больным, умирающим.

— Нет,— сказал раввин, запер синагогу, сунул ключ в карман и поспешил прочь.

Учитель — он ел себя поедом — проторчал под каштаном до начала первого, и, хотя ежеминутно давал себе слово все бросить, уйти домой, не мог побороть досаду и злость, такие прочные — не вырвешь — корни они пустили в его душе. Уже где-то около часа тени заметались, и учитель увидел, как к нему улицей, выложенной, точно мозаикой, тенями, идут двое. Первым в новом кафтане и щегольской шляпе шел усталой, тяжелой походкой старый раввин. За ним не шла — приплясывала Рифкеле в кокетливом желтом мини-платье, открывавшем ляжки-тумбы над мосластыми коленями; время от времени она останавливалась, хлопала себя по ушам. Длинная белая шаль упала с левого плеча и, чудом удержавшись на правом, косо повисла, только что не волочась по земле.

— Вырядились на мои денежки!

— У-у-у! — протянула Рифкеле и, подняв ручищи, шлепнула себя по ушам: слушать себя она не хотела.

Они втащились по тесной лестнице, учитель плелся за ними по пятам.

— Я хочу посмотреть на мой венец, — уже в гостиной сказал он побледневшему, обомлевшему раввину.

— Венец, — заносчиво сказал раввин, — уже готов. Идите домой, ждите, вашему папе скоро будет лучше.

— Перед уходом я позвонил в больницу — никакого улучшения не наблюдается.

— Улучшения? Он хочет улучшение так скоро, когда даже доктора не понимают, какая болезнь у вашего папы? Не спешите, венцу нужно давать еще время. Даже Богу нелегко понимать наших болезней.

— Я хочу посмотреть на вещь, за которую заплатил деньги.

— Я вам ее уже показывал, вы сначала посмотрели, потом заказывали.

— Вы же мне показали отражение, факсимильное воспроизведение, словом, что-то в этом роде. Я требую, чтобы мне продемонстрировали в подлиннике вещь, за которую я как-никак выложил без малого тысячу монет.

— Послушайте, мистер Ганс, — невозмутимо продолжал раввин, — одни вещи нас допускают видеть, их Он позволяет нам видеть. Иногда я думаю: зря Он это позволяет. Другие вещи нас не допускают видеть — еще Моисей это знал, и первая — это лик Божий, а вторая — это подлинный венец, который Он сам сделал и благословил. Чудо — это чудо и никому до него касаться нельзя.

— Но вы же видите венец?

— Не глазами.

— Ни одному вашему слову не верю, вы просто надувала, жалкий фокусник.

— Венец — это подлинный венец. Если вы держите его за фокус, так кто в этом виноват — только люди, которые нож к горлу приставляют, чтоб им показывали венец, вот мы и стараемся, показываем им, что это такое приблизительно будет. Ну а тем, кто верит, им фокусов не нужно.

Рифкеле,— спохватился раввин,— принеси папе его книжку с письмами.

Рифкеле не сразу вышла из комнаты — она явно побаивалась, прятала глаза; минут через десять она возвратилась, спустив предварительно воду в уборной, в немыслимой, до полу, фланелевой рубашке и принесла большую тетрадь, между ее рассыпавшихся от ветхости пожелтевших страниц лежали старые письма.

— Отзывы,— сказал раввин.

Перелистав одну за другой несколько рассыпавшихся страниц, он дрожащей рукой вынул письмо и прочел его вслух осипшим от волнения голосом:

— «Дорогой рабби Лифшиц, после чудодейственного исцеления моей мамы, миссис Макс Коэн, последовавшего недавно, я имею лишь одно желание — покрыть поцелуями ваши босые ноги. Ваш венец делает чудеса, я буду рекомендовать его всем моим друзьям. Навеки ваша (миссис) Эстер Полатник».

— Учительница, преподает в колледже.

«Дорогой рабби Лифшиц, ваш венец (ценой в девятьсот восемьдесят шесть долларов) полностью и всецело излечил моего отца от рака поджелудочной железы с метастазами в легких, когда ему уже ничего не помогало. Я никогда не верил в чудеса, но теперь я буду меньше поддаваться сомнениям. Не знаю, как благодарить вас и Бога. С самыми искренними пожеланиями Даниэль Шварц».

Юрист,— сказал раввин.

Он протянул Альберту тетрадь:

— Глядите своими глазами, мистер Ганс, сколько тут писем — сотни и сотни.

Но Альберт отпихнул тетрадь.

— Если мне на что и хочется поглядеть, рабби Лифшиц, то никак не на тетрадь с никчемными рекомендациями. Я хочу поглядеть на серебряный венец для моего отца.

— Это невозможно. Я уже объяснял вам, почему это

невозможно делать. Слово Господне — для нас закон.

— Если вы ссылаетесь на закон, я ставлю вопрос так: или вы в течение пяти минут покажете мне венец, или завтра же утром окружному прокурору Бронкса станет известно о вашей деятельности.

— У-у-у,— выпевала Рифкеле, колотя себя по ушам.

— Заткнись! — вырвалось у Альберта.

— Имейте уважение! — возопил раввин.— Grubber Yung *.

— Я вчиню иск, и прокурор прикроет вашу надувательскую лавочку, если вы сейчас же не вернете мне девятьсот восемьдесят шесть долларов, которые вы у меня выманили.

Раввин затоптался на месте.

— Хорошенькое дело так говорить о слугителе Божьем.

— Вор, он вор и есть.

Рифкеле давилась слезами, верещала.

— Ша,— хрипло шепнул Альберту раввин, ломая нечистые руки.— Вы же будете пугать соседей. Слушайте сюда, мистер Ганс, вы вашими глазами видели, какой из себя бывает подлинный венец. Вы имеете мое слово, что я делал исключение для вас одного из всех моих заказчиков. Я показывал вам венец из-за вашего папы, чтобы вы заказывали мне венец, и тогда ваш папа не будет умирать. Не надо поставить чуду палку в колеса.

— Чудо,— взвыл Альберт.— Мошенничество, надувательство, фокусы плюс эта идиотка в роли зазывалы и гипнотические зеркала. Вы меня околдовали, облапошили.

— Имейте жалость,— молил раввин, он, шатаясь, пробирався между пустыми стульями.— Имейте милость к старику. Не забывайте о моей бедной дочери. Не забывайте о вашем папе — ведь он вас любит.

— Да этот сукин сын меня на дух не переносит, чтоб он сдох.

В оглушительной, как взрыв, тишине у Рифкеле от испуга вожжей побежали слюни.

* Невежа (*идиш*).

— Ой-ёй! — завопил раввин и с безумными глазами наставил палец на Бога в небесах.— Убийца,— в ужасе вопил он.

Отец и дочь, стая, бросились друг к другу в объятия, а Альберт — боль обручем с шипами сдавила ему голову — сбежал по гулкой лестнице.

Через час Ганс-старший закрыл глаза и испустил дух.

Говорящая лошадь

Вопрос: Человек ли я, спрятанный в лошади, или лошадь, говорящая человеческим голосом? Допустим, меня просветят рентгеном, и что обнаружат — проступающий из черноты бледный скелет человека, стиснутого в лошадиной утробе, или всего-навсего лошадь с хитроумным говорящим устройством? Если я и вправду человек, то Ионе во чреве кита было гораздо лучше — хотя бы не так тесно. К тому же он знал, кто он и как туда попал. Мне же остается только теряться в догадках о себе. И уж во всяком случае, через три дня и три ночи кит приплыл в Ниневию, Иона подхватил чемоданчик и был таков. А что делать Абрамовичу, он годами не может вырваться из трюма или, вернее сказать, из узды, в которой его держат; ведь он не пророк, даже вовсе наоборот. Его выставляют на потеху зевакам вместе с прочими диковинными уродцами в балагане, хотя с недавних пор по воле Гольдберга он выступает на арене под большим шатром вместе со своим глухонемым хозяином, самим Гольдбергом, да простит его Всевышний. Я здесь давно, это единственное, в чем у меня нет сомнений, но вот какую шутку сыграла со мной судьба, понять не могу. Одним словом, кто я — лошадь по кличке Абрамович или Абрамович, запятанный в лошади? Поди догадайся. Как ни стараюсь понять, все напрасно, а тут еще Гольдберг мешает. За что мне такое наказание, видно, я провинился в чем-то, согрешил в помыслах или делах или не исполнил какой-то свой долг в жизни? Так легко совершать ошибки и не знать, кого за них винить. Я строю

предположения, ловлю проблески истины, теряюсь в догадках, но доказать ничегошеньки не могу.

Когда Абрамович, запертый в стойле, беспокойно бьет копытами по выщербленным доскам пола и жует жесткую желтую солому, набитую в мешок, его порой посещают разные мысли, скорее похожие на некие смутные воспоминания; в них молодые лошади несутся во весь опор, весело резвятся или тесной гурьбой пасутся на зеленых лугах. Бывают у него и другие видения, а может быть, его тревожат воспоминания. Как знать, где истина?

Я пробовал расспрашивать Гольдберга, но с ним лучше не связываться. Когда ему задаешь вопрос, он густо багровеет от ярости, просто из себя выходит. Я могу его понять — он уже давно глухонемой. Гольдберг не выносит, когда к нему лезут в душу, суют нос в его дела, и сюрпризов он не любит, разве те, что сам подстраивает. Короче говоря, вопросы выводят его из себя. Спросишь его о чем-нибудь, и он сразу же свирепеет. Меня Гольдберг редко удостаивает словом, только когда бывает в настроении, а такое случается нечасто — у него не хватает терпения на разговоры. Последнее время он просто ужасен, то и дело пускает в ход свою бамбуковую трость — хрясь по крестцу! У меня вдоволь овса, соломы и воды, изредка он даже шутит со мной, чтобы снять напряжение, когда я дохожу до точки, но если я не сразу схватываю, что от меня хотят, или своими высказываниями действую ему на нервы, мне чаще достаются угрозы, и тогда я корчусь от жгучей боли. Страдаю я не только от ударов трости, свистящей точно хлыст. Часто Гольдберг терзает меня и угрозами наказания — от них острая боль пронзает все тело. Честно говоря, легче сносить удары, чем выслушивать угрозы, — боль стихает быстро, а страх наказания изматывает душу. Но самые ужасные терзания, во всяком случае для меня, когда не знаешь то, что должен знать.

И все-таки это не мешает нам общаться друг с другом. Гольдберг пользуется азбукой Морзе, стучит своей тяжелой

копяшкой по моей голове — тук-тук-тук. Дрожь пробегает по всему моему телу, до самого хвоста. Так он отдает мне приказания или грозит, сколько ударов я получу за слушание. Помню, как первый раз он простучал: **НИКАКИХ ВОПРОСОВ. ПОНЯЛ? Я** закивал головой, мол, конечно, понял, и тут же зазвенел колокольчик, свисавший на ремешке из-под лошадиной челки. Так я узнал, что на мне колокольчик.

ГОВОРИ, выстучал он по моей голове, сообщив, какой придумал номер.

— Ты — говорящая лошадь.

— Да, хозяин.

— Что на это скажешь?

Я с удивлением прислушался к звуку своего голоса, вырывавшегося из лошадиного горла, как из трубы. Мне не удастся восстановить, как все случилось, и я начинаю вспоминать с самого начала. Я веду поистине сражения с собственной памятью, чтобы выудить из нее самые первые воспоминания. Но не спрашивайте почему, скорей всего я упал и ушибся головой или, может быть, как-то иначе покалечился. Мой хозяин — глухонемой Гольдберг, он читает по моим губам. Однажды под хмельком он разговорился и выстучал мне, что давным-давно, еще до того, как мы поступили в цирк, я возил на себе товары по ярмаркам и базарам.

А я привык думать, что здесь родился.

— Ненастной, снежной, паскудной ночью, — простучал он морзянкой по моему лысому черепу.

— Что было потом?

Он оборвал разговор. И я пожалел, что спросил.

Я стараюсь воскресить в памяти ту ночь, о которой он упомянул, и некие туманные образы всплывают у меня в голове. Вполне возможно, все это пригрезилось мне, пока я мирно жевал солому. Грезить приятнее чем вспоминать. Чаще всего передо мной возникает одна и та же сцена — два человека, вернее, они то лошади, то всадники, и я не

знаю, кто же из них я. Так или иначе, встречаются двое неизвестных, один другого о чем-то спрашивает, и тут между ними начинается схватка. Они то стараются сразить противника мечом, то с пронзительным ржанием рвут друг друга зубами, и вот уже ничего не разобрать в этой кутерьме. Всадники ли это или лошади, но один из них непременно стройный юноша, похожий на поэта, а второй — толстяк с огромной черной короной на голове. Они сходятся в каменном мешке колодца ненастной, снежной, паскудной ночью. Один водрузил на себя треснувшую металлическую корону весом в целую тонну, ему тяжело, его движения замедленны, но удары точны; на втором незнакомце — рваная цветная кепка. Ночь напролет бьются они в сумраке скользкого каменного колодца.

Вопрос: Что же делать?

Ответ: Не задавать проклятых вопросов, черт бы их побрал.

Наутро один из нас просыпается от страшной боли, такое ощущение, будто на шее зияет рана, и голова гудит. Абрамович вроде бы припоминает, что его свалил тяжелый удар, хотя и не может в этом поклясться, к тому же в глубине сознания брезжит странный диалог, в котором ответы стоят прежде вопросов.

— Я спустился по лестнице.

— Как ты сюда попал?

— Старший и младший.

— Который из них кто?

Абрамович подозревает, что в той истории, которая ему привиделась, Гольдберг сильным ударом оглушил его и засунул в лошадь, поскольку для циркового номера требовалась говорящая лошадь, а взять ее было негде.

Мне хотелось бы знать наверняка.

НЕ СМЕЙ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ.

Таким уж он уродился, грубым деревенщиной, хотя и пожалеть может, если на него находит тоска или начинается запой. Тогда он выстукивает мне неприличные анек-

доты. Никто не видел его в компании друзей. Ни он, ни я никогда не говорили о своих семьях. Когда Гольдберг смеется, по его щекам текут слезы.

Гольдбергу есть от чего впадать в тоску, ведь он способен произносить только нечленораздельные звуки — ги-и, гу-у, га-а, го-о. Директор цирка, он же штальмейстер, заглянув к хозяину пропустить стаканчик, смущенно опускает глаза, слушая его мычание. Обращаясь к тем, кто не знает морзянки, Гольдберг гримасничает, свирепо таращит глаза и скалит зубы. У него есть свои тайны. В чулане, где чучело пони, на стене висит позеленевший трезубец. Иногда Гольдберг со старым свечным огарком спускается в подвал, а выходит оттуда с новой горящей свечкой, хотя у нас электричество. Он никогда не жалуется на судьбу, но порой им овладевает беспокойство, и он в волнении хрустит пальцами. Женщины, похоже, его не интересуют, но он следит, чтобы при случае Абрамович не остался без кобылы. Что скрывать, природа берет свое, но Абрамович не получает особого удовольствия, поскольку кобыле нет дела до его ухаживаний, ей безразлично, умеет он говорить или нет. Самое неприятное, что Гольдберг аплодирует, когда Абрамович взбирается на кобылу. Страшно унизительно.

Когда мы перебираемся на зимние квартиры, хозяин раз в неделю прихорашивается и отправляется в город. Он надевает костюм из тонкого сукна, закалывает галстук булавкой с бриллиантом, натягивает желтые перчатки и любуется собой в большом зеркале. Он размахивает тростью, делая вид, что фехтует, нападает на свое отражение в зеркале, крутит трость вокруг пальца. Абрамовичу он не сообщает, когда уходит и куда. Но возвращается, как правило, грустный, а то и просто в тоске, видно, не слишком весело провел время. Если в такой момент попасться ему под руку, он может вытянуть хорошенько раз-другой по спине своей чудовищной тростью. Или еще хуже — начнет грозить. Ничего страшного, конечно, но кому приятно? Обыкновенно же Гольдберг сидит дома и смотрит телевизор, он помешан

на астрономии, и когда по учебному каналу бывают уроки астрономии, он все вечера просиживает перед телевизором и не отрываясь смотрит на изображения звезд, квазаров, бесконечной вселенной. Еще он любит читать «Дейли ньюс» и, просмотрев номер, рвет газету на части. Иногда из-под старых шляп в чулане он извлекает книгу и углубляется в нее. И сразу же начинает или смеяться, или плакать. Порой в этой толстой книжке он вычитывает нечто такое, от чего приходит в необычайное волнение, то взгляд его блуждает, по губам течет слюна, и, ворочая толстым языком, он силится что-то сказать, но Абрамович слышит только ги-и, гу-у, га-а, го-о. Звуки всегда одни и те же, хотя означать они могут что угодно. Иногда у Гольдберга получается гул, гун, гик, гонк в разных сочетаниях, чаще гул и гонк, что, как кажется Абрамовичу, значит Гольдберг. В таком состоянии он, случилось, бил Абрамовича в живот тяжелым ботинком. О-ох.

Его смех похож на ржание, а возможно, так просто слышится моему лошадиному уху. И хотя он и смеется-то изредка, мне от этого не легче, в моей ситуации ничего не меняется. То есть я по-прежнему думаю — господи, мне же в этой лошади сидеть и сидеть. Я все-таки склоняюсь к мысли, что я человек, хотя кое-какие сомнения на этот счет у меня остались. Что же до всего остального, то Гольдберг низкорослый, коренастый человечек, с толстой шеей, густыми черными бровями, торчащими, как усики, его большие ступни тонут в бесформенных ботинках. Он моет ноги в раковине на кухне и вешает сушить свои желтые носки на отмытые добела перегородки моего стойла. Тьфу.

Он любит показывать карточные фокусы.

Зимой они уезжают на юг и живут в захламленном одноэтажном домике с пристроенной конюшней, куда Гольдберг может попасть из кухни, если спустится на несколько ступенек. Абрамовича снаружи заводят в стойло по настилу, и воротца захлопываются за ним, ударяя его по заду.

Чтобы он не расхаживал где вздумается, конюшня отделена от дома решетчатыми воротцами, они как раз Абрамовичу по шею. Хуже всего, что стойло рядом с туалетом и вода в неисправном бачке шумит всю ночь. С глухонемым невесело, только и радости, когда Гольдберг вносит в номер маленькие новшества. Абрамович с удовольствием репетирует, хотя Гольдберг почти не меняет текст, только переставляет вопросы и ответы. Все же лучше, чем ничего. Порой, когда Абрамовичу становится немого от разговоров с самим собой, от вопросов, на которые не добиться ответа, он жалуется, кричит, поносит хозяина грязными словами, храпит, вопит, издает пронзительное ржание. В отчаянии Абрамович поднимается на дыбы, мечется в стойле, пускается вскачь, но что толку скакать, если ты в неволе, а Гольдберг не может или, вернее, не хочет услышать жалобы, мольбы, протесты.

Вопрос: Скажи мне, если я приговорен, то на какой срок?

Ответ:...

Изредка Гольдберг вроде бы проникается сочувствием к Абрамовичу и начинает заботиться о нем — расчесывает и чистит скребком, даже трется своей лохматой головой о морду лошади. Он смотрит, вкусна ли у него еда и хорошо ли освобождается желудок. Но если Абрамович, расчувствовавшись, теряет осторожность и задает вопрос, то Гольдберг, прочитав его по губам Абрамовича, бьет его по носу. Или грозит ударить. Что ничуть не лучше.

Мне известно о Гольдберге только то, что когда-то он был комиком и акробатом. Выступал в номере со слепым ассистентом, отпускал разные шуточки, а потом впал в меланхолию. Вот и все, что он рассказал мне о себе, пользуясь азбукой Морзе. Я, забывшись, спросил, что было дальше, и получил удар по носу.

Лишь однажды, когда он был подшофе и принес мне ведро воды, я быстро задал вопрос, на который он машинально ответил.

— Откуда я у тебя, хозяин? Ты купил меня у кого-то?

Или, может быть, приобрел на аукционе?

Я НАШЕЛ ТЕБЯ В КАПУСТЕ.

Однажды он выступал по моему черепу:

— В начале было Слово.

— Какое слово?

Удар по носу.

НИКАКИХ ВОПРОСОВ.

— Нельзя ли поосторожнее с моей раной или что там у меня на голове.

— Заткнись, а то без зубов останешься.

Гольдбергу, размышлял я про себя, прочитать бы тот рассказ, который я однажды услышал по его транзисторному приемнику. О бедном русском ямщике, который ехал на саях сквозь снежную метель. Его сын, прекрасный способный молодой человек, заболел воспалением легких и умер, а бедному ямщику не с кем поделиться своим горем. Никому нет дела до чужих несчастий, так устроен свет. Едва ямщик вымолвит слово, как седоки грубо обрывают его. В конце концов он изливает свое горе костлявой лошаденке в конюшне, а та жует солому и слушает, как старик, обливаясь слезами, рассказывает ей о своем сыне, которого накануне похоронил.

Вот если бы с тобой, Гольдберг, случилось такое, ты бы жалел меня, кем бы я ни был.

— Ты когда-нибудь выпустишь меня на волю, хозяин?

Я С ТЕБЯ ШКУРУ ЗАЖИВО СДЕРУ, ЧЕРТОВА КЛЯЧА.

Мы выступаем вместе в одном номере. Гольдберг дал ему название «Спроси что полегче», иронический намек в мой адрес.

В балагане посетители обычно глазели на бородатых женщин, толстяков, круглых как шар, мальчика-змею и прочие чудеса, а над говорящим Абрамовичем смеялись до упаду. Помнится, один чудака даже заглянул ему в пасть, выясняя, кто там прячется. Уж не гомункулус ли? Другие объясняли все чревоуещанием, хотя лошадь сказала им, что

Гольдберг глухонемой. Зато в цирке номер шел под гром аплодисментов. Репортеры умоляли разрешить им проинтервьюировать Абрамовича, и он уже подумывал, не рассказать ли все, как есть, но Гольдберг не позволил бы ему говорить.

— Он так раздуется от важности, — произнес за него Абрамович, — что на него не налезут прошлогодние шляпы.

Перед представлением хозяин облачается в клоунский красно-белый костюм в горошек и островерхую клоунскую шапку, берет у штальмейстера гибкий хлыст, который наводит на Абрамовича неопикуемый ужас, хотя Гольдберг и уверяет, что бояться нечего, это всего лишь цирковая бутафория. Ни один дрессировщик не обходится без хлыста. Зрителям нравится, как он щелкает. На голову Абрамовича хозяин прикрепляет метелку для смахивания пыли вверх перьями, что делает его похожим на понурого единорога. Оркестрик из пяти музыкантов проигрывает бравурную увертюру к «Вильгельму Телю». Звучит туш, Гольдберг щелкает хлыстом, Абрамович с повисшей метелкой на голове делает круг по залитому огнями манежу и, остановившись перед Гольдбергом в клоунском наряде, бьет левым копытом по усыпанному опилками настилу. Начинается номер. Когда Гольдберг раскрывает накрашенный рот и мычит, его багровое лицо становится пунцовым от натуги, а печальные глаза под черными бровями вылезают из орбит, он с муками выдавливает из себя чудовищные звуки, демонстрируя верх красноречия:

— Ги-и гу-у га-а го-о?

Абрамович, выдержав паузу, звонко отчеканивает ответ.

Ответ: Чтобы попасть на другую сторону.

Всеобщий вздох изумления, гул голосов, зрители озадачены, и на мгновение воцаряется напряженная тишина. Но вот раздается барабанный бой, Гольдберг щелкает длинным хлыстом, Абрамович снова переводит идиотское мычание хозяина в членораздельную фразу и не обманывает ожидания публики. На самом же деле он всего

лишь произносит вопрос, ответ на который только что прозвучал.

Вопрос: Почему цыпленок переходит улицу?

Вот теперь зрители смеются. Да еще как смеются! Они тузят друг друга от восторга. Можно подумать, они впервые в жизни услышали эту затасканную загадку, это жалкое подобие шутки. И разумеется, они смеялись над вопросом, а не над ответом. Это Гольдберг все придумал. Он иначе не может. Только так и работает.

Обычно в этот момент Абрамович становилось грустно, он понимал, что всех смешила не старая детская игра, а участие в ней говорящей лошади. Вот почему они показывались со смеху.

— Идиотский вопросик.

— Ничего, сойдет, — сказал Гольдберг.

— Позволь мне иногда задавать свои вопросы.

А ЧТО ТАКОЕ МЕРИН, ЗНАЕШЬ?

Я промолчал. Это игра для двоих.

В ответ на первые аплодисменты артисты низко кланяются. Абрамович мелкой трусцой пробегает по кругу, высоко подняв голову с плюмажем. Но тут Гольдберг вновь щелкает толстым хлыстом, лошадь резво выходит на середину манежа, и номер продолжается. Детские вопросы и ответы все так же по-дурацки переставляются местами. После каждого вопроса Абрамович делает круг по манежу под приветственный рев зрителей.

Ответ: Чтобы не потерять штаны.

Вопрос: Зачем пожарному красные подтяжки?

Ответ: Колумб.

Вопрос: Какой автобус первым пересек Атлантику?

Ответ: Газета.

Вопрос: Что такое — черное, белое и красное?

Мы произносили еще дюжину фраз в таком духе, в заключение Гольдберг щелкал своим нелепым хлыстом, я дважды пробегал галопом по манежу, и мы раскланивались.

Гольдберг похлопывает меня по разгоряченным бокам,

мы покидаем манеж под оглушительные аплодисменты публики и крики «браво», Гольдберг возвращается в свой фургончик, а я — в конюшню, пристроенную к нему, здесь до завтрашнего дня каждый из нас сам по себе. Многие зрители ходили в цирк на все представления и покатывались со смеху от наших загадок, хотя знали их с детства. Так день за днем проходит сезон, и все тянется по-старому, если не считать парочки глупых загадок про слонов, которые Гольдберг для разнообразия вставил в номер.

Ответ: От игры в шарики.

Вопрос: Почему у слонов морщины на коленях?

Ответ: Чтобы упаковывать грязное белье.

Вопрос: Зачем слонам такие длинные чемоданы?

Ни Гольдберг, ни я не считаем эти шутки особенно удачными, но такая уж сейчас мода. По-моему, мы прекрасно обошлись бы и без них. И вообще, ничего не нужно, кроме свободной говорящей лошади.

Однажды Абрамович решил, что сам придумает ответ и вопрос, это же проще простого. На вечернем представлении, когда номер уже подходил к концу, он произнес заготовленные фразы:

Ответ: Чтобы поздороваться со своим приятелем-цыпленком.

Вопрос: Зачем желтая утка переходит улицу?

На мгновение наступила растерянная тишина, а потом раздался рев восторга. Зрители как безумные молотили себя кулаками, кидали вверх соломенные канотье. Но Гольдберг, оторопев от неожиданности, свирепо уставился на лошадь. Его красное лицо побагровело. Когда он щелкнул хлыстом, раздался такой звук, какой бывает, когда на реке ломается лед. Придя в ужас от собственной дерзости, Абрамович, оскалив зубы, поднялся на дыбы и невольно сделал вперед несколько шагов. Решив, что это новый эффектный финал, зрители бурно зааплодировали. Гнев Гольдберга утих, и, опустив хлыст, он сделал вид, что смеется. Под несмолкаемые овации он ласково улыбался Абрамовичу, словно

единственному дитяте, которого он и пальцем не тронет, но Абрамович всем нутром чувствовал, что хозяин вне себя от ярости.

— Не забывай, КТО ЕСТЬ КТО, полоумная кляча,— выстучал Гольдберг по носу Абрамовича, повернувшись спиной к публике.

Он заставил Абрамовича пробежать еще круг, а потом, сделав акробатический прыжок, вскочил на него и бешеным галопом умчался с манежа.

Позже он простучал своей жесткой костяшкой по черепу лошади, что если она отколет еще что-нибудь в этом роде, он, Гольдберг, сам отведет Абрамовича на мыловарню.

ТАМ ТЕБЯ НА МЫЛО ПУСТЯТ...

А что останется, скормят собакам.

— Я же пошутил, хозяин,— оправдывался Абрамович.

— Ты мог сказать ответ, но не твое дело задавать вопрос.

Не в силах сдержать накопившуюся обиду, говорящая лошадь возразила:

— Я сделала это, чтобы почувствовать себя свободной.

При этих словах Гольдберг, размахнувшись своей страшной тростью, с силой хлестнул лошадь по шее. У Абрамовича перехватило дыхание, он пошатнулся, но кровь не выступила.

— Сжался, хозяин,— взмолился он,— не бей по старой ране.

Гольдберг не спеша отошел, помахивая тростью.

— Ты, мешок с потрохами, еще раз взбрыкнешь, и у меня будет куртка из лошадиной шкуры с меховым воротником, гул, гун, гик, гонк.— В углах его рта пузырилась слюна.

Яснее не скажешь.

Иногда мне чудится, что я бесплотен, как сама мысль, но нет, куда там, стою в вонючем стойле, копыта увязают в желтом навозе. Я совсем старик, сам себе противен и, перемалывая зубами жесткую солому в пенящуюся жвачку, чувствую, как неприятно пахнет изо рта. А в это время

Гольдберг курит сигару, уставившись в телевизор. Он не жалеет для меня корма, конечно, если считать, что солома годится в пищу, но целую неделю не убирался в стойле. Такому типу ничего не стоит и на лошадь верхом сесть.

Каждый день утром и вечером они выходят на манеж, Гольдберг пребывает в прекрасном расположении духа, тысячи зрителей надрыдают себе от смеха животы, а Абрамовичу снится, что наконец-то он на воле. Странные это были сны, если вообще их можно назвать снами. Он не ведает, что они значат и откуда приходят к нему. Может быть, это дают о себе знать тайные мысли о свободе или неосознанное презрение к самому себе? Тешишь себя фантазиями о несбыточном? Но так или иначе, кто знает, что может снится говорящей лошади? Гольдберг виду не подаёт, что проведал, какие чудеса творятся с его лошадьё, но, как подозревает Абрамович, он наверняка многое знает, только умело скрывает, и, очнувшись на куче навоза и грязной соломы от своих опасных видений, лошадь прислушивается к сонному бормотанию глухонемого хозяина.

Абрамовичу снится, а может быть мечтается, как бы он жил, если бы выпала ему другая судьба и был бы он лошадьё, которая не умеет разговаривать, не умеет размышлять, а живет себе, довольствуясь уделом бессловесной твари. Вот она везет по проселочной дороге тележку, груженную золотистыми яблоками. По обеим сторонам дороги белые березы, а за ними простираются бескрайние зеленые луга в ковре полевых цветов. Будь он такой лошадьё, его, верно, выпускали бы пастись на этих лугах. Снились ему и другие сны, захватывающие, полные событий, он видел себя скаковой лошадьё на бегах, вот он в шорах несется во весь опор, только комья грязи отлетают от копыт, обходит всех, рывок у самого финиша, и он приходит первым; разумеется, жокеем у него не Гольдберг. Жокея вообще нет, свалился по дороге.

Можно, конечно, и не быть скаковой лошадьё, если исходить из реального положения вещей. Пусть Абрамович

остаётся говорящей лошадей, но выступает он не в цирке, а в театре, каждый вечер выходит на сцену и декламирует стихи. Зал полон, все охают и ахают, что за чудесные стихи читает эта удивительная лошадь.

Иногда он воображает себя совершенно свободным «человеком» неопределённой наружности, с неясными чертами лица, врачом или адвокатом, бескорыстно помогающим бедным. Неплохо было бы вот так, с пользой, прожить жизнь.

Но даже в моих снах, называйте их как угодно, меня преследует Гольдберг. Он как бы говорит моим голосом:

Во-первых, ты не какая-нибудь бессловесная кляча, а говорящая лошадь и больше никто. Уверяю тебя, Абрамович, я не против того, что ты умеешь говорить, но я не позволю тебе нести всякий вздор и нарушать правила.

Теперь о скаковой лошади. Посмотри-ка на себя хорошенько — ты же весь осел на задние ноги, обрюзг, дряблый живот отвис, потемневшая шкура задубела и не блестит, сколько тебя ни чеши и ни скреби, две пары волосатых, толстых, кривых ног да пара подслеповатых косых глаз. Так что выкинь из головы всю эту чушь, если не хочешь выставить себя на посмешище.

Что же до стихов, то кто станет слушать, как лошадь читает стихи? Разве что птицы.

Наконец, о последнем сне или как это там называется, в общем, тебе не даёт покоя то, что ты якобы можешь стать врачом или адвокатом. И думать об этом забудь, ты живёшь не в том мире. Лошадь остаётся лошадей, хотя бы она и умела говорить. И не равняй себя с людьми. Понимаешь, что я имею в виду? Уж если родился лошадей, значит, так тебе на роду написано. И мой тебе совет, брось умничать, Абрамович. Не старайся знать все, так и спятить можно. Никто всего не знает; мир иначе устроен. Соблюдай правила игры. Не раскачивай лодку. Не делай из меня дурака, я поумнее тебя. Это у меня от природы. Нам волей-неволей приходится быть тем, кем мы появились

на свет, хотя это и жестоко по отношению к нам обоим. Но таков порядок вещей. Все идет по определенным законам, даже если кое-кому и трудно с этим смириться. Закон есть закон, и не тебе менять то, что не тобой заведено. Такова связь вещей. Все мы связаны между собой, Абрамович, никуда от этого не деться. Если тебе так будет легче, признаюсь, я без тебя не проживу, но и тебе не позволю обойтись без меня. Мне нужно зарабатывать на хлеб насущный, ты, говорящая лошадь, принадлежишь мне, я на тебе делаю деньги, но ведь я же и забочусь о тебе, кормлю и пою. Я не раз говорил, но ты не хочешь слушать, подлинная свобода в том, чтобы осознать это и не тратить силы на борьбу с правилами; вяжешься в это, жизнь пройдет впустую. Ты всего-навсего говорящая лошадь, но таких лошадей, уверяю тебя, по пальцам можно пересчитать. И будь у тебя, Абрамович, побольше умишка, ты бы жил припеваючи, а не терзал себя. Не порть наш номер, если хочешь себе добра.

Что же касается твоего желтого дерьма, то если ты будешь вести себя как положено и не болтать лишнего, то завтра у тебя уберут, а я сам вымою тебя из шланга теплой водой. Поверь мне, нет ничего лучше чистоты.

Так он издевался надо мной во сне, хотя мне уже кажется, что я почти не сплю последнее время.

На короткие расстояния из одного городка в другой цирк переезжает в своих фургонах. Их везут другие лошади, но меня Гольдберг бережет, и это вновь наводит на тревожные размышления. Когда мы едем далеко в большие города, нас грузят в цирковой поезд, раскрашенный белыми и красными полосами. Мое стойло в товарном вагоне по соседству с обычными, не умеющими разговаривать лошадьми, гривы у них красиво заплетены, хвосты фигурно подстрижены, они выступают в номере с наездником без седла. Мы не проявляем особого интереса друг к другу. Если они вообще способны думать, то им скорей всего кажется, что говорящая лошадь чересчур много о себе пони-

мают. Сами они только и делают, что едят, льют и кладут кучи. Ни единым словом между собой не перемолвятся. И ни единой мысли, хорошей или дурной, не промелькнет в их головах.

После больших переездов в цирке обычно бывает выходной, представления в этот день не дают, а когда мы не работаем утром и вечером, Гольдберг впадает в тоску, ходит мрачнее тучи. В такой день он с утра не расстается с бутылкой и выстукивает мне морзянкой разные колкости и угрозы.

— Абрамович, ты слишком много думаешь. Что тебе неймется? Во-первых, мысли в тебе не задерживаются, а во-вторых, в твоей голове пусто,— значит, и мысли у тебя пустые. В общем, нечего тебе задаваться. Ну-ка, скажи мне, что у тебя сейчас на уме?

— Я думаю, какие новые ответы и вопросы вставить в наш номер, хозяин.

— Это еще зачем? Номер и без того длинный.

Если бы он знал, какие вопросы терзают меня, но не дай бог...

Как только начинаешь задавать вопросы, один цепляется за другой, и конца этому нет. А вдруг я твержу один и тот же вопрос, но на разные лады? Я все хочу понять, почему мне ни о чем нельзя спрашивать эту неотесанную деревенщину. Но я раскусил Гольдберга, он боится вопросов, боится, что его разоблачат, выведут перед всеми на чистую воду. Значит, некто может призвать его к ответу за все содеянное. Как бы там ни было, у Гольдберга темное прошлое, он боится проговориться мне, хотя иной раз и намекает на что-то. Но стоит мне заикнуться о моем прошлом, как он твердит одно: забудь об этом. Думай только о будущем. О каком будущем? С другой стороны, Гольдберг может умышленно напускать туману, ведь Абрамович пытливый по натуре, и, несмотря на запреты Гольдберга, он не перестает задаваться вопросами, сопоставляет одно с другим и, наконец, понимает,— упопительная

мысль! — что знает больше, чем положено лошади, даже говорящей, и следовательно, все это доказывает, что он точно не лошадь. По крайней мере, не родился ею.

Итак, я в очередной раз пришел к заключению — да, я человек, спрятанный в лошади, а не лошадь, умеющая говорить в силу случайного стечения обстоятельств. Я додумался до этого давно, но потом снова нахлынули сомнения — да полно, возможно ли такое? Телом я ощущаю себя лошадью, это очевидно, но я же говорю, мыслю, мучаюсь вопросами. Словом, я — это я. Что-то подсказывает мне, что говорящих лошадей в природе не бывает, хотя Гольдберг, тыча в меня толстым пальцем, утверждает обратное. Он погряз во лжи, в этом его сущность.

Однажды вечером, когда после долгой дороги они устроились на новом месте, Абрамович вдруг обнаружил, что задняя дверь стойла не заперта — хандра притупляла бдительность Гольдберга, — и, повинуясь безотчетному порыву, Абрамович, осторожно пятясь, выбрался наружу. Обогнув сзади фургон Гольдберга, он пересек ярмарочную площадь, где расположился цирк, и рысью промчался мимо двух цирковых служителей; они даже не попытались его задержать, скорей всего потому, что Абрамович крикнул им на ходу: «Привет, мальчики! Чудесный вечер!» Когда площадь осталась позади, Абрамович, хотя и опьяненный негаданной свободой, все же усомнился, правильно ли он поступил. Он рассчитывал, что сможет переждать некоторое время в какой-нибудь рощице посреди лугов, где будет мирно пастись. Но кругом, куда ни пойдешь, — промышленное предместье, и сколько Абрамович ни бродил по улицам, цокая копытами, он не увидел даже небольшого парка, не то что леса.

Куда денешься, если обличьем ты вылитая лошадь?

Абрамович попытался укрыться в старых конюшнях в школе для верховой езды, но оттуда его выгнала сердитая женщина. Кончилось тем, что его настигли на платформе вокзала, где он ждал поезда. Ужасно глупо, он сам это

понимал. Кондуктор так и не пустил его в вагон, сколько Абрамович его ни упрасивал. Прибежал начальник вокзала и приставил ему к голове пистолет. Не внемля мольбам, он не отпускал лошадь, пока не подоспел Гольдберг со своей бамбуковой тростью. Хозяин грозился высечь Абрамовича до крови и нарисовал эту картину с такой невыносимой отчетливостью, что Абрамович почувствовал, как он превращается в сплошное кровавое месиво. Через полчаса он снова был под замком в стойле, в висках стучало, на голове запеклась кровь. Гольдберг осыпал его бранью на своем глухонемом наречье, но проклятия не трогали Абрамовича, хотя всем своим понурым видом он изображал раскаяние. От Гольдберга ему не убежать до тех пор, пока он не выберется из лошади, в которую его засадили.

Однако потребуются немалые усилия, чтобы выйти на белый свет человеком. Абрамович решил действовать без лишней спешки и воззвать к общественному мнению. На осуществление задуманного уйдут месяцы, может быть, годы. Соппротивление! Саботаж, если на то пошло! Бунт! В один прекрасный вечер, когда они уже раскланялись и аплодисменты стихали, Абрамович, подняв голову, словно собираясь благодарно заржать в ответ на рукоплескания, неожиданно воскликнул, обращаясь к публике:

— Помогите! Кто-нибудь, вызволите меня отсюда! Я в этой лошади, как в тюрьме! Выпустите на свободу ближнего своего!

Тишина, будто дремучий лес, обступила арену. Гольдберг смотрел в сторону и не подозревал о страстном выкрике Абрамовича — потом уже ему рассказал штальмейстер, — но по удивленным и даже потрясенным лицам зрителей, а главное, по откровенно торжествующему виду Абрамовича он понял, что произошло что-то неладное. Хозяин сразу же разразился веселым смехом, словно все шло так, как было задумано, и лошадь просто позволила себе не-

большую импровизацию. Зрители тоже оживились, бурно захлопали.

— Зря стараешься,— выстучал морзянкой хозяин после представления.— Все равно тебе никто не поверит.

— Тогда отпусти меня по своей воле, хозяин. Пожалей меня.

— Что до этого,— твердо выстучал Гольдберг,— то тут уж ничего не изменишь. Мы только вместе можем и жить и зарабатывать. Тебе не на что жаловаться, Абрамович. Я забочусь о тебе лучше, чем ты сам можешь о себе позаботиться.

— Может быть, и ваша правда, мистер Гольдберг, но что мне от этого, если в душе я человек, а не лошадь?

Всегда багровый Гольдберг даже побледнел, когда выстучивал морзянкой свое обычное **НИКАКИХ ВОПРОСОВ**.

— Я и не спрашиваю ни о чем, мне просто нужно сказать нечто очень важное.

— Поменьше задавайся, Абрамович.

Вечером хозяин отправился в город, вернулся безобразно пьяным, будто в него влили бочку бренди, и угрожал Абрамовичу трезубцем — во время гастролей он возил его с собой в чемодане. Еще одно издевательство.

Между тем номер явно меняется, он уже совсем не тот, что прежде. Ни многократные предупреждения, ни попытка угрозами уже не останавливают Абрамовича, с каждым днем он позволяет себе все новые вольности. Переводя идиотское мычание Гольдберга, все эти ги-и гу-у га-а го-о, Абрамович намеренно перевирает и без того глупые вопросы и ответы.

Ответ: Чтобы попасть на другую сторону.

Вопрос: Зачем пожарному красные подтяжки?

Ответ: От игры в шарики.

Вопрос: Зачем слонам такие длинные чемоданы?

Выступая на манеже, Абрамович идет на риск и вставляет

в номер свои ответы и вопросы, хотя знает, что наказание неминуемо.

Ответ: Говорящая лошадь.

Вопрос: У кого четыре ноги и кто хочет быть свободным?

На этот раз никто не засмеялся.

Абрамович передразнивал Гольдберга, когда тот не мог следить за его губами. Обзывал хозяина «чуркой», «немым болваном», «глухой дубиной» и при любой возможности обращался к публике, просил, требовал, умолял о помощи.

— Gevalt! * Освободите меня! Я тоже человек! Это произвол! Я хочу на свободу!

Когда Гольдберг отворачивался или впадал в меланхолическое безразличие ко всему, Абрамович кривлялся и на разные лады высмеивал хозяина. Он громко ржал, издеваясь над его внешностью, «речью», тупостью, заносчивостью. Иной раз, поднявшись на дыбы и выставив напоказ срамное место, он распевал песни о свободе. И тогда в отместку Гольдберг принимался нарочито неуклюже танцевать с насмешником — клоун, на лице которого намалевана мрачная ухмылка, вальсировал с лошастью. Те, кто видел номер прежде, приходили в изумление и, пораженные этими переменами, растерянно замирали, словно в предчувствии грозящей беды.

— Помогите! Помогите, да помогите же мне кто-нибудь! — молил Абрамович. Но все будто окаменели.

Чувствуя какой-то разлад на манеже, публика, случалось, освистывала исполнителей. Это приводило в замешательство Гольдберга, впрочем, во время выступления, облаченный в красно-белый костюм в горошек и белый клоунский колпак, он сохранял хладнокровие и никогда не пускал в ход хлыст. Надо отдать ему должное, он улыбался в ответ на оскорбления, неважно, не «слышал» он их или нет. До него доходило лишь то, что он видел. На лице Гольдберга застыла кривая ухмылка, губы подергивались. Толстые уши пылали под градом колкостей и насмешек, но он

* *Насилие! (идиш)*

смеялся до слез в ответ на выходки и оскорбления Абрамовича, а вместе с ним смеялись и многие зрители. Абрамович приходил в ярость.

После представления Гольдберг, сняв свой шутовской наряд, угрозами доводил Абрамовича почти до безумия или жестоко избивал тростью. На следующий день он отхаживал конягу стимулирующими таблетками и затираал черной краской рубцы на боках.

— Чертова кляча, из-за тебя мы останемся без куска хлеба.

— Я хочу быть свободным.

— Чтобы быть свободным, ты должен понимать, что такое для тебя свобода. Такие, как ты, Абрамович, только на мыловарне обретают свободу.

Как-то на вечернем представлении Гольдберг, у которого был очередной приступ депрессии, вяло двигался по манежу, не в силах даже громко щелкнуть хлыстом. И Абрамович решил, уж если в будущем его ждет или мыловарня, или такое, как теперь, прозябание, то стоит попробовать избежать и того, и другого. И тогда, чтобы вырваться на свободу, он устроил свой бенефис. Это был его звездный час. С отчаянием в душе он, вдохновенно развлекая публику, так и сыпал смешными загадками:

Ответ: Выпрыгнуть из окна.

Вопрос: Как избавиться от трости?

Абрамович декламировал стихи, которые запомнил, слушая приемник Гольдберга; хозяин иной раз засыпал, не выключив его, и он работал всю ночь. От стихов Абрамович перешел к рассказам и закончил трогательной речью.

Он поведал слушателям истории о несчастных лошадиных судьбах. Одну лошадь до смерти забил жестокий хозяин, когда у истощенной лошаденки не осталось сил тащить воз дров, он разможил ей поленом голову. Другая история была о скаковой лошади, быстрой, как ветер. Никто не сомневался, что она возьмет приз на скачках в Кентукки, но в первом же забеге ее алчный хозяин поставил целое

состояние на другую лошадь, а ее загубил, дав ей допинг. Героиней третьего рассказа была сказочная крылатая лошадь, она пала жертвой охотника, который застрелил ее, не поверив собственным глазам. А потом Абрамович рассказал, как прекрасный юноша, одаренный многими талантами, прогуливаясь весенним вечером, увидел нагую богиню, купающуюся в реке. Он не мог отвести от нее восхищенного взора, а красавица закричала в испуге и воззвала к небесам. Юноша пустился наутек и внезапно по конскому храпу и топоту копыт понял, что он уже не юноша с блестящим будущим, а лошадь.

В заключение Абрамович прокричал в зал:

— Я тоже человек, меня засунули в лошадей! Есть среди присутствующих врач?

Полное молчание.

— Может быть, чародей?

Снова молчание, только нервный смешок пробежал по рядам.

Тогда Абрамович произнес страстную речь о всеобщей свободе. Он говорил до хрипоты и закончил, как обычно, обращением к зрителям:

— Помогите мне вернуть мой истинный облик. Ведь я не тот, каким вы видите меня, я тот, кем я хочу стать. А хочу я стать тем, кто я есть на самом деле,— человеком.

В конце номера многие зрители со слезами на глазах поднялись со своих мест, и оркестр сыграл «Звездное знамя».

Гольдберг, дремавший на куче опилок, пока Абрамович исполнял свою сольную партию, проснулся как раз вовремя, чтобы раскланяться вместе с ним. Позднее по настоятельному совету нового директора цирка он отказался от старого названия номера «Спроси что полегче», придумав новое — «Варьете Гольдберга». И долго плакал неизвестно почему.

После того как столь страстный, столь вдохновенный крик о помощи не был никем услышан, Абрамович в отчаянии

бился головой о дверцы стойла, пока из ноздрей не закапала кровь в мешок с кормом. Он подумал, ну и пусть, захлебнусь кровью. Гольдберг нашел его в глубоком обмороке на грязной соломе и ароматическими солями привел в чувство. Потом он перевязал ему нос и стал по-отечески увещевать.

— Вот ты и сел в лужу,— стучал он широким плоским пальцем,— но могло быть и хуже. Послушай меня, оставайся говорящей лошастью, так оно лучше.

— Сделай меня или человеком, или обыкновенной лошастью,— умолял Абрамович.— Это в твоей власти, Гольдберг.

— Тебе досталась чужая роль, приятель.

— Почему ты всегда лжешь?

— А почему ты вечно лезешь со своими вопросами? Это вообще не твоего ума дело.

— Я спрашиваю, потому что существую. И хочу быть свободным.

— Ну-ка ответь мне, кто свободен? — насмешливо спросил Гольдберг.

— В таком случае,— сказал Абрамович,— что же делать?

НЕ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСОВ, Я ПРЕДУПРЕЖДАЛ ТЕБЯ.

Он пригрозил, что ударит по носу. Опять пошла кровь.

В тот же день Абрамович объявил голодовку и продержался почти неделю. Однако Гольдберг сурово предупредил, что будет кормить его искусственно, вставит толстые резиновые трубки в обе ноздри, и пришлось голодовку прекратить. При мысли об этом Абрамович просто задыхался от досады. Номер снова стал таким, как прежде, и хозяин вернул ему старое название «Спроси что полегче». Когда сезон кончился, цирк отправился на юг, Абрамовича вместе с другими лошадьми впрягли в фургоны, и он брел в облаке пыли.

И все-таки мои мысли никому у меня не отнять.

Как-то раз погожей осенью, сменившей долгое изнури-

тельное лето, Гольдберг, вымыв свои большие ноги в раковине на кухне, повесил вонючие носки сушиться на перегородке в стойле Абрамовича, а потом сел перед телевизором смотреть передачу по астрономии. Чтобы лучше видеть, он поставил на цветной телевизор горящую свечу. Но по рассеянности Гольдберг забыл закрыть дверцы стойла, и Абрамович, махнув через три ступеньки, минуя захламленную кухню, проник в дом, глаза его сверкали. Наткнувшись на Гольдберга, благоговейно созерцающего вселенную на экране телевизора, он с гневным ржанием отступил назад, чтобы обрушить удар копытами на голову хозяина. Гольдберг, заметив его боковым зрением, вскочил, готовый к защите. Быстро прыгнув на стул, он, хрюкнув, ухватил Абрамовича за его большие уши и потянул, будто намереваясь приподнять его, и тут голова вместе с шеей отделилась от туловища в том месте, где был старый шрам, и осталась в руках у Гольдберга. В дыре из зловонного кровавого месива показалась бледная голова человека. Лет сорока, в мутном пенсне, с напряженным взглядом темных глаз и черными усами. Высвободив руки, он изо всех сил вцепился в толстую шею Гольдберга. Они боролись, сплетаясь в жестокой схватке, и Абрамович судорожным усилием медленно вытягивал себя из лошадиного чрева, пока не освободился до пупка. В тот же миг ослабли судорожные тиски, и Гольдберг исчез, хотя на ярко светящемся экране еще продолжался урок астрономии. Впоследствии Абрамович пытался осторожно выведать, куда он подевался, но этого не знал никто.

Покинув цирк, Абрамович легким галопом пересек луг, поросший мягкой травой, и скрылся в сумраке леса, вольный кентавр.

Содержание

- 5 А. Зверев. «Бедные люди»: XX век.
- 14 Вот он ключ! *Перевод Л. Беспаловой*
- 42 Идиоты первыми. *Перевод В. Голышева*
- 54 Мой сын убийца. *Перевод В. Голышева*
- 61 Письмо. *Перевод Н. Васильевой*
- 67 Ссуда. *Перевод М. Зинде*
- 76 Прожиточный минимум. *Перевод М. Кан*
- 87 В могилу свели. *Перевод М. Кан*
- 96 Гнев Господень. *Перевод М. Зинде*
- 104 Шляпа Рембрандта. *Перевод О. Варшавер*
- 115 Ангел Левин. *Перевод Л. Беспаловой*
- 129 Живым надо жить. *Перевод О. Варшавер*
- 139 Серебряный венец. *Перевод Л. Беспаловой*
- 163 Говорящая лошадь. *Перевод Н. Васильевой*

Маламуд Б.

**М 18 Шляпа Рембрандта: Рассказы/Пер. с англ.
Предисл. и сост. А. Зверева.— М.: Известия,
1990.— 192 с. (Библиотека журнала «Иностран-
ная литература»)**

Точные по психологическому рисунку, свободные от дидактизма рассказы Маламуда несут в себе определенный нравственный урок: урок любви и сострадания к людям.

М $\frac{4703040100-009}{074(02)-90}$ 73-90

**ББК 84. 7США
И(Амер)**

БЕРНАРД МАЛАМУД
ШЛЯПА РЕМБРАНДТА

Художественный редактор *С. Мухин*
Технический редактор *И. Клыкова*
Корректор *Л. Шмелева*

ИБ № 1435

Сдано в набор 13.09.89. Подписано в печать 27.06.90. Формат 70 × 100/32. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Тип-Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 7,8. Усл. кр.-отт. 8,1. Уч.-изд. л. 8,52. Тираж 50 000 экз. Зак. № 1189. Цена 90 к.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
103791, Москва, Пушкинская пл., 5.

Можайский полиграфкомбинат В/О «Совэкспорткнига» Государственного комитета СССР по печати.
143200, Можайск, ул. Мира, 93.
